МАРИНА ЦВЕТАЕВА

стихи
театр
проза

[redacted]

891.7842

7789881

Lit 891.7842 T882n
Tsvetaeva, Marina Ivanovna
(Efron)
Neizdannoe $12.00

DISCARDED BY
MEMPHIS PUBLIC LIBRARY

MAIN LIBRARY

Memphis and Shelby
County Public Library and
Information Center

For the Residents
of
Memphis and Shelby County

7789881
MEMPHIS PUBLIC LIBRARY AND INFORMATION CENTER
SHELBY COUNTY LIBRARIES

Юношеские стихи

RENFREW PUBLIC LIBRARY AND INFORMATION CENTRE
SHELBY COUNTY LIBRARIES

Посвящаю эти строки
Тем, кто мне устроит гроб.
Приоткроют мой высокий
Ненавистный лоб.

Измененная без нужды,
С венчиком на лбу,
Собственному сердцу чуждой
Буду я в гробу.

Не увидят на лице:
«Все мне слышно! Все мне видно!
Мне в гробу еще обидно
Быть как все».

В платье белоснежном — с детства
Нелюбимый цвет! —
Лягу — с кем-то по-соседству? —
До скончанья лет.

Слушайте! — Я не приемлю!
Это — западня!
Не меня опустят в землю,
Не меня.

Знаю! — Все сгорит дотла!
И не приютит могила
Ничего, что я любила,
Чем жила.

Москва, весна 1913 г.

Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись!

Прочти — слепоты куриной
И маков набрав букет, —
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.

Не думай, что здесь — могила,
Что я появлюсь, грозя . . .
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!

И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились . . .
Я тоже б ы л а, прохожий!
Прохожий, остановись!

Я вечности не приемлю!
Зачем меня погребли?
Я так не хотела — в землю
С любимой моей земли!

Сорви себе стебель дикий
И ягоду — ему вслед.
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.

Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли...
И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

Коктебель, 3 мая 1913 г.

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я — поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти —
Нечитанным стихам!

Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берет,
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

13 мая 1913 г.

Солнцем жилки налиты — не кровью —
На руке, коричневой уже.
Я одна с моей большой любовью
К собственной моей душе.

Жду кузнечика, считаю до ста,
Стебель срываю и жую...
— Странно чувствовать так сильно
и так просто
Мимолетность жизни — и свою.

15 мая 1913 г.

Вы, идущие мимо меня
К не моим и сомнительным чарам, —
Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни, растраченной даром,

И какой героический пыл
На случайную тень и на шорох...
— И как сердце мне испепелил
Этот даром истраченный порох!

О летящие в ночь поезда,
Уносящие сон на вокзале...
Впрочем, знаю я, что и тогда
Не узнали бы вы — если б знали —

Почему мои речи резки
В вечном дыме моей папиросы, —
Сколько темной и грозной тоски
В голове моей светловолосой.

17 мая 1913 г.

Мальчиком, бегущим резво,
Я предстала Вам.
Вы посмеивались трезво
Злым моим словам:

«Шалость — жизнь мне, имя — шалость!
Смейся, кто не глуп!»
И не видели усталость
Побледневших губ.

Вас притягивали луны
Двух огромных глаз.
Слишком розовой и юной
Я была для Вас!

Тающая легче снега
Я была — как сталь.
Мячик, прыгнувший с разбега
Прямо на рояль.

Скрип песка под зубом, или
Стали по стеклу . . .
Только Вы не уловили
Грозную стрелу

Легких слов моих, и нежность
Гнева напоказ . . .
Каменную безнадежность
Всех моих проказ!

29 мая 1913 г.

Я сейчас лежу ничком
— Взбешенная! — на постели.
Если бы Вы захотели
Быть моим учеником,

Я бы стала в тот же миг
— Слышите, мой ученик?

В золоте и в серебре
Саламандра и Ундина.
Мы бы сели на ковре
У горящего камина.

Ночь огонь и лунный лик . . .
— Слышите, мой ученик?

И безудержно — мой конь
Любит бешеную скачку! —
Я метала бы в огонь
Прошлое — за пачкой пачку:

Старых роз и старых книг.
— Слышите, мой ученик?

А когда бы улеглась
Эта пепельная груда, —
Господи, какое чудо
Я бы сделала из Вас!

Юношей воскрес старик!
— Слышите, мой ученик?

А когда бы Вы опять
Бросились в капкан науки,
Я осталась бы стоять,
Заломив от счастья руки.

Чувствуя, как ты — велик!
— Слышите, мой ученик?

1 июня 1913 г.

Идите же! — Мой голос нем
И тщетны все слова.
Я знаю, что ни перед кем
Не буду я права.

Я знаю: в этой битве пасть
Не мне, прелестный трус!
Но, милый юноша, за власть
Я в мире не борюсь.

И не оспаривает Вас
Высокородный стих.
Вы можете — из-за других —
Моих не видеть глаз.

Не слепнуть на моем огне,
Моих не чуять сил...
Какого демона во мне
Ты в вечность упустил!

Но помните, что будет суд,
Разящий, как стрела.
Когда над головой блеснут
Два пламенных крыла!

11 июля 1913 г.

А С Е

1.

Мы быстры и наготове
Мы остры.
В каждом жесте, в каждом взгляде,
в каждом слове. —
Две сестры.

Своенравна наша ласка
И тонка,
Мы из старого Дамаска —
Два клинка.

Прочь гумно и бремя хлеба,
И волы!
Мы — натянутые в небо
Две стрелы!

Мы одни на рынке мира
Без греха,
Мы — из Вильяма Шекспира
Два стиха.

11 июля 1913 г.

2.

Мы — весенняя одежда
Тополей,
Мы — последняя надежда
Королей.

Мы на дне старинной чаши,
Посмотри:
В ней твоя заря, и наши
Две зари.

И прильнув устами к чаше,
Пей до дна.
И на дне увидишь наши
Имена.

Светлый взор наш смел и светел
И во зле.
— Кто из вас его не встретил
На земле?

Охраняя колыбель и мавзолей,
Мы — последнее виденье
Королей.

11 июля 1913 г.

СЕРГЕЮ ЭФРОН-ДУРНОВО

1

Есть такие голоса,
Что смолкаешь, им не вторя,
Что предвидишь чудеса.
Есть огромные глаза
Цвета моря.

Вот он встал перед тобой:
Посмотри на лоб и брови
И сравни его с собой!
— То усталость голубой,
Ветхой крови.

Торжествует синева
Каждой благородной веной.
Жест царевича и льва
Повторяют кружева
Белой пеной.

Вашего полка — драгун,
Декабристы и версальцы!
И не знаешь — так он юн —
Кисти, шпаги или струн
Просят пальцы.

Коктебель, 19 июля 1913 г.

2

Как водоросли Ваши члены
Как ветви мальмэзонских ив...
Так Вы лежали в брызгах пены,
Рассеяно остановив

На светло-золотистых дынях
Аквамарин и хризопраз
Сине-зеленых, серо-синих,
Всегда полузакрытых глаз.

Летели солнечные стрелы
И волны — бешеные львы.
Так Вы лежали, слишком белый
От нестерпимой синевы...

А за спиной была пустыня
И где-то станция Джанкой...
И тихо золотилась дыня
Под Вашей длинною рукой.

Так, драгоценный и спокойный,
Лежите, взглядом не даря,
Но взглянете — и вспыхнут войны,
И горы двинутся в моря,

И новые зажгутся луны,
И лягут радостные львы —
По наклонению Вашей юной
Великолепной головы.

1 августа 1913 г.

БАЙРОНУ

Я думаю об утре Вашей славы,
Об утре Ваших дней,
Когда очнулись демоном от сна Вы
И Богом для людей.

Я думаю о том, как Ваши́ брови
Сошлись под факелами Ваших глаз,
О том, как лава древней крови
По Вашим жилам разлилась.

Я думаю о пальцах — очень длинных —
В волнистых волосах,
И обо всех — в аллеях и в гостиных
Вас жаждущих глазах,

И о сердцах, которых, слишком юный,
Вы не имели времени прочесть
В те времена, когда всходили луны
И гасли в Вашу честь.

Я думаю о полутемном зале,
О бархате, склоненном к кружевам, —
О всех стихах, какие бы сказали
Вы — мне, я — Вам.

Я думаю еще о горсти пыли,
Оставшейся от Ваших губ и глаз, —
О всех глазах, которые в могиле . . .
О них и нас . . .

Ялта, 24 сентября 1913 г.

ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ

Я подымаюсь по белой дороге,
Пыльной, звенящей, крутой.
Не устают мои легкие ноги
Высится над высотой.

Слева — крутая спина Аю-Дага,
Синяя бездна — окрест.
Я вспоминаю курчавого мага
Этих лирических мест.

Вижу его на дороге и в гроте...
Смуглую руку у лба...
— Точно стеклянная на повороте
Продребезжала арба... —

Запах — из детства — какого-то дыма
Или каких-то племен...
Очарование прежнего Крыма
Пушкинских милых времен.

Пушкин! — Ты знал бы по первому взору,
Кто у тебя на пути.
И просиял бы, и под руку в гору
Не предложил мне идти.

Не опираясь о смуглую руку,
Я говорила б, идя,
Как глубоко презираю науку
И отвергаю вождя,

Как я люблю имена и знамена,
Волосы и голоса,
Старые вина и старые троны,
— Каждого встречного пса! —

Полуулыбки в ответ на вопросы,
И молодых королей...
Как я люблю огонек папиросы
В бархатной чаще аллей,

Комедиантов и звон тамбурина,
Золото и серебро,
Неповторимое имя: Марина,
Байрона и болеро,

Ладанки, карты, флаконы и свечи,
Запах кочевий и шуб,
Лживые, в душу идущие, речи
Очаровательных губ.

Эти слова: никогда и навеки,
За колесом — колею...
Смуглые руки и синие реки,
— Ах, — Мариулу твою! —

Треск барабана — мундир властелина —
Окна дворцов и карет,
Рощи в сияющей пасти камина,
Красные звезды ракет...

Вечное сердце свое и служенье
Только ему, Королю.
Сердце свое и свое отраженье
В зеркале... — Как я люблю...

Кончено... — Я бы уж не говорила,
Я посмотрела бы вниз...
Вы бы молчали, так грустно, так мило
Тонкий обняв кипарис.

Мы помолчали бы оба — не так ли? —
Глядя, как где-то у ног,
В милой какой-нибудь маленькой сакле
Первый блеснул огонек.

И — потому что от худшей печали
Шаг — и не больше — к игре! —
Мы рассмеялись бы и побежали
За руку вниз по горе.

1 октября 1913 г.

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.

Застынет всё, что пело и боролось,
Сияло и рвалось:
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.

И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет всё — как будто бы под небом
И не было меня!

Изменчивой, как дети, в каждой мине
И так недолго злой,
Любившей час, когда дрова в камине
Становятся золой,

Виолончель и кавалькады в чаще,
И колокол в селе...
— Меня, такой живой и настоящей
На ласковой земле!

— К вам всем — что́ мне, ни в чем
не знавшей меры,
Чужие и свои?! —
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.

И день и ночь, и письменно и устно:
За правду «да» и «нет»,
За то, что мне так часто — слишком грустно
И только двадцать лет,

За то, что мне — прямая неизбежность —
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность,
И слишком гордый вид,

За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру...
— Послушайте! — Еще меня любите
За то, что я умру.

8 декабря 1913 г.

Быть нежной, бешеной и шумной,
— Так жаждать жить! —
Очаровательной и умной, —
Прелестной быть!

Нежнее всех, кто есть и были,
Не знать вины...
— О возмущенье, что в могиле
Мы все равны!

Стать тем, что никому не мило,
— О стать как лед! —
Не зная ни того, что было,
Ни что придет,

Забыть, как сердце раскололось,
И вновь срослось,
Забыть свои слова и голос,
И блеск волос.

Браслет из бирюзы старинной —
На стебельке,
На этой узкой, этой длинной
Моей руке...

Как зарисовывая тучку
Издалека,
За перламутровую ручку
Бралась рука,

Как перепрыгивали ноги
Через плетень,
Забыть, как рядом по дороге
Бежала тень.

Забыть, как пламенно в лазури,
Как дни тихи . . .
— Все шалости свои, все бури
И все стихи!

Мое свершившееся чудо
Разгонит смех.
Я, вечно-розовая, буду
Бледнее всех.

И не раскроются — так надо —
— О, пожалей! —
Ни для заката, ни для взгляда,
Ни для полей —

Мои опущенные веки.
— Ни для цветка! —
Моя земля, прости навеки,
На все века.

И так же будут таять луны
И таять снег,
Когда промчится этот юный,
Прелестный век.

Феодосия, Сочельник 1913 г.

ГЕРОЯМ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА

Сергею

Одна улыбка на портрете,
Одно движенье головы, —
И чувствуется: в целом свете
Герои — вы.

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса.

И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след, —
Очаровательные франты
Минувших лет!

Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.

Вас охраняла длань Господня
И сердце матери. Вчера —
Малютки-мальчики, сегодня —
Офицера!

Вам все вершины были малы
И мягок — самый черствый хлеб,
О молодые генералы
Своих судеб!

Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,
Я встретила, Тучков-четвертый,
Ваш нежный лик,

И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена . . .
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна.

О, как, мне кажется, могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать — и гривы
Своих коней.

В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век . . .
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.

Три сотни побеждало — трое!
Лишь мертвый не вставал с земли!
Вы были дети и герои,
Вы всё могли!

Что́ так же трогательно-юно,
Как ваша бешеная рать? . .
Вас златокудрая Фортуна
Вела, как мать.

Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острие —
И весело переходили
В небытие!

Феодосия, 26 декабря 1913 г.

Над Феодосией угас
Навеки этот день весенний,
И всюду удлиняет тени
Прелестный предвечерний час.

Захлебываясь от тоски,
Иду одна, без всякой мысли,
И опустились и повисли
Две тоненьких моих руки.

Иду вдоль генуэзских стен,
Встречая ветра поцелуи,
И платья шелковые струи
Колеблются вокруг колен.

И скромен ободок кольца,
И трогательно мал и жалок
Букет из нескольких фиалок
Почти у самого лица.

Иду вдоль крепостных валов,
В тоске вечерней и весенней
И вечер удлиняет тени
И безнадежность ищет слов.

14 февраля 1914 г.

В огромном липовом саду,
— Невинном и старинном —
Я с мандолиною иду,
В наряде очень длинном,

Вдыхая теплый запах нив
И зреющей малины,
Едва придерживая гриф
Старинной мандолины,

Пробором кудри разделив . . .
— Тугого шелка шорох
Глубоко вырезанный лиф
И юбка в пышных сборах. —

Мой шаг изнежен и устал,
И стан, как гибкий стержень,
Склоняется на пьедестал,
Где кто-то ниц повержен.

Упавшие колчан и лук
На зелени — так белы!
И топчет узкий мой каблук
Невидимые стрелы.

А там, на маленьком холме,
За каменной оградой,
Навеки отданный зиме
И веющий Элладой,

Покрытый временем, как льдом,
Живой каким-то чудом —
Двенадцатиколонный дом
С террасами, над прудом.

Над каждою колонной в ряд
Двойной замкнулся локон.
И бриллиантами горят
Его двенадцать окон.

Стучаться в них — напрасный труд:
Ни тени в галерее,
Ни тени в залах. — Сонный пруд
Откликнется скорее.

«О где Вы, нежный граф?
О, Дафнис, вспомни Хлою!»
Вода волнуется, приняв
Живое — за былое.

И принимает, лепеча,
В прохладные объятья —
Живые розы у плеча,
И розаны на платье.

Уста, еще алее роз,
И цвета листьев — очи . . .
— И золото моих волос
В воде еще золоче!

О день без страсти и без дум,
Старинный и весенний.
Девического платья шум
О ветхие ступени . . .

2 января 1914 г.

ЧАРОДЕЙ

Анастасии Цветаевой

Он был наш ангел, был наш демон,
Наш гувернер — наш чародей,
Наш принц и рыцарь. — Был нам всем он
Среди людей!

В нем было столько изобилий,
Что и не знаю, как начну!
Мы пламенно его любили —
Одну весну.

Один его звонок по зале —
И нас охватывал озноб,
И до безумия пылали
Глаза и лоб.

И как бы шевелились корни
Волос, — о эта дрожь и жуть!
И зала делалась просторней,
И у́же — грудь.

И руки сразу леденели,
И мы не чувствовали ног.
— Семь раз в течение недели
Такой звонок!

Он здесь. Наш первый и последний!
И нам принадлежащий весь!
Уже выходит из передней!
Он здесь, он здесь!

Он вылетает к нам, как птица,
И сам влетает в нашу сеть!
И сразу хочется кружиться,
Кричать и петь.

Прыжками через три ступени
Вбегаем лесенкой крутой
В наш мезонин — всегда весенний
И золотой.

Где невозможный беспорядок,
Где точно разразился гром
Над этим ворохом тетрадок,
Еще с пером.

Под этим полчищем шарманок,
Картонных кукол и зверей,
Полуобгрызанных баранок,
Календарей,

Неописуемых коробок,
С вещами не на всякий вкус,
Пустых флакончиков без пробок,
Стеклянных бус —

Чьи ослепительные грозди
— Clinquantes, éclatantes grappes —
Звеня опутывают гвозди
Для наших шляп.

Садимся — смотрим — знаем — любим,
И чуем, не спуская глаз,
Что за него себя погубим,
А он — за нас.

Два скакуна в огне и мыле —
Вот мы! — Лови, когда не лень!
Мы говорим о том, как жили
Вчерашний день.

О том, как бегали по зале
Сегодня ночью при луне
И что и как ему сказали
Потом во сне.

И как — и мы уже в экстазе! —
За наш непокоримый дух
Начальство наших двух гимназий
Нас гонит двух.

Как никогда не выйдем замуж,
— Так и останемся втроем! —
О, никогда не выйдем замуж,
Скорей умрем!

Как жизнь уже давным-давно нам —
Сукно игорное: — vivat!
За Иоанном — в рай, за доном
Жуаном — в ад.

———

Жерло заговорившей Этны —
Его заговоривший рот.
Ответный вихрь и смерч, ответный
Водоворот.

Здесь и проклятья, и осанка,
Здесь все сжигает и горит.
О всем, что в мире несказанно
Он говорит.

Нас — нам казалось — на смерть раня
Кинжалами зеленых глаз,
Змеей взвиваясь на диване!..
О, сколько раз

С шипеньем раздраженной кобры,
Он клял вселенную и нас, —
И снова становился добрый
Почти на час.

Чревовещание — девизы —
Витийства — о король плутов!
Но нам уже доносят снизу,
Что чай готов.

———

Среди пятипудовых теток
Он с виду весит ровно пуд:
Так легок, резок, строен, четок,
Так страшно худ.

Да нет он ничего не весит!
Он ангельски — бесплотно — юн!
Его лицо, как юный месяц,
Меж полных лун.

Упершись в руку подбородком,
— О том, как вечера тихи,
Читает он. — Как можно теткам
Читать стихи?!

О, как он мил, и как сначала
Преувеличенно учтив!
Как, улыбаясь, прячет жало
И как, скрестив

Свои магические руки,
Умеет — берегись сосед! —
Любезно отдаваться скуке
Пустых бесед.

Но вдруг — безудержно и сразу! —
Он вспыхивает мятежом,
За безобиднейшую фразу
Грозя ножом.

Еще за полсекунды чинный,
Уж с пеной у рта взвел курок
— Прощай, уют и именинный,
Прощай, пирог!

Чай кончен. — Удлинились тени
И домурлыкал самовар.
Скорей, на свежий и весенний
Тверской бульвар!

Нам так довольно о Бодлере!
Пусть ветер веет нам в лицо!
Поют по гоголевски двери,
Скрипит крыльцо. —

В больших широкополых шляпах
Мы, кажется, еще милей . . .
И этот запах, этот запах
От тополей.

Бульвар сверкает. По дорожке
Косые длинные лучи.
Бегут серсо, за ними ножки,
Летят мячи,

Другие остаются в сетках.
Вот мальчик в шапочке «Варяг»
На платьице в шотландских клетках
Направил шаг.

Сияют кудри, щечки, глазки,
Ревун надулся и охрип.
Скрипят колесами коляски,
— Протяжный скрип. —

Там мама наблюдает зорко
За девочкой с косой, как медь.
В одной руке ее — ведерко,
В другой — медведь.

Какой-то мальчик просит кашки.
О, как он, бедный, не дорос
До гимназической фуражки
И папирос!

О взвейтесь, кудри, взвейтесь ленты!
Увы, обратно нет путей!
Проходят парами студенты
Среди детей.

Играет солнце по аллеям...
— Как жизнь прелестна и проста! —
Нам ровно тридцать лет обеим:
Его лета.

О как вас перескажешь ныне —
Четырнадцать — шестнадцать лет!
Идем, наш рыцарь посредине,
Наш свой — поэт.

Мы по бокам, как два привеска,
И видит каждая из нас:
Излом щеки, сухой и резкий,
Зеленый глаз.

Крутое острие бородки,
Как злое острие клинка,
Точеный нос и очерк четкий
Воротничка.

(— Кто с нашим рыцарем бродячим
Теперь бредет в луче златом? . . —)
Над раскаленным, вурдалачьим
Тяжелым ртом, —

Уса, взлетевшего высоко,
Надменное полукольцо . . .
— И все заглядываем сбоку
Ему в лицо.

А там, в полях необозримых,
Служа Небесному Царю,
Чугунный правнук Ибрагимов
Зажег зарю.

На всем закат пылает алый,
Пылают где-то купола,
Пылают окна нашей залы
И зеркала.

Из черной глубины рояля
Пылают грозди алых роз.
— «Я рыцарь Розы и Грааля,
Со мной Христос,

Но шел за мной по всем дорогам
Тот, кто присутствует и здесь.
Я между Дьяволом и Богом
Разорван весь.

Две правды — два пути — две силы —
Две бездны: Данте и Бодлэр!»
О, как он по-французски, милый,
Картавил «эр».

Но, милый, Данте ты оставишь,
И с ним Бодлэра, дорогой!
Тихонько нажимаем клавиш,
За ним другой —

И звуки — роем пчел из улья —
Жужжат и вьются — кто был прав?! —
Наш Рыцарь Розы через стулья
Летит стремглав.

Он, чуть ли не вселенной старше —
Мальчишка с головы до пят!
По первому аккорду марша
Он весь — солдат!

Чу! — Звон трубы! — Чу! — Конский топот,
Треск барабана! — Кивера!
Ах, к чёрту ум и к чёрту опыт!
Ура! Ура!

Он Тот, в чьих белых пальцах сжаты
Сердца и судьбы, сжат весь мир.
На нем зеленый и помятый
Простой мундир.

Он Тот, кто у кремлевских башен
Стоял во весь свой малый рост.
В чьи вольные цвета окрашен
Аркольский мост.

Должно быть бледны наши лица,
Стук сердца разрывает грудь.
Нет времени остановиться,
Нет сил — вздохнуть.

Магическою силой руки
По клавишам — уже летят!
Гремят вскипающие звуки,
Как водопад.

Цирк, раскаленный, как Сахара,
Сонм рыжекудрых королев.
Две гордости земного шара:
Дитя и лев.

Под куполом — как царь в чертоге —
Красуется британский флаг.
Расставив клетчатые ноги,
Упал дурак . . .

В плаще из разноцветных блесток,
Под говор напряженных струн
На площадь вылетел подросток,
Как утро — юн!

— Привет миледи и милорды!
Уже канат дрожит тугой
Под этой маленькой и твердой
Его ногой.

В своей чешуйке многозвездной,
— Закончив резвый пируэт —
Он улыбается над бездной,
Подняв берет.

Рояль умолкнул. Дребезжащий
Откуда-то — на смену — звук,
Играет музыкальный ящик,
Старинный друг,

Весь век до хрипоты, до стона,
Игравший трио этих пьес:
Марш кукол — Auf der Blauen Donau —
И экоссез.

В мир голосов и гобеленов
Открылась тайная тропа.
О, рай златоволосых венок!
О вальс в три па! *

Под вальс невинный, вальс старинный
Танцуют наши три весны,
Холодным зеркалом гостиной —
Отражены.

---

* Это четверостишие зачеркнуто М. Цветаевой.

Так залу окружив трикраты,
— Тройной тоскующий тростник —
Вплываем в царство белых статуй
И старых книг.

На вышке шкафа, сер и пылен,
Видавший лучшие лета,
Угрюмо восседает филин,
С лицом кота.

С набитым филином в соседстве
Спит Зевс, тот непонятный дед,
Которым нас пугали в детстве,
Что — людоед.

Как переполненные соты —
Ряд книжных полок. — Тронул блик
Пергаментные переплеты
Старинных книг.

Цвет Греции и слава Рима, —
Неисчислимые тома!
Здесь — сколько б солнца не внесли мы —
Всегда зима.

Последним солнцем розовея,
Распахнутый лежит Платон...
Бюст Аполлона — план Музея —
И всё — как сон.

Уже везде по дому ставни
Захлопываются, стуча.
В гостиной — где пожар недавний? —
Уж ни луча.

Все меньше и все меньше света,
Все ближе и все ближе стук...
Уж половина кабинета
Ослепла вдруг.

Еще единым мутным глазом
Белеет левое окно.
Но ставни стукнули — и разом
Совсем темно.

Самозабвение — нирвана —
Что, фениксы, попали в сеть?! —
На дальних валиках дивана
Не усидеть!

Уже в углу вздохнуло что-то,
И что-то дрогнуло чуть-чуть.
Тихонько скрипнули ворота:
Кому-то в путь.

Иль кто-то держит путь обратный
— Уж наши руки стали льдом —
В завороженный, невозвратный
Наш старый дом.

Мать под землей, — отец в Каире...
Еще какое-то пятно!
Уже ничто смешное в мире
Нам не смешно.

Уже мы поняли без слова,
Что белое у шкафа — гроб.
И сердце, растеряв подковы,
Летит в галоп.

— «Есть в мире ночь. Она беззвездна.
Есть в мире дух, он весь — обман.
Есть мир. Ему названье — бездна
И океан.

Кто в этом океане плавал —
Тому обратно нет путей!
Я в нем погиб. — Обратно, Дьявол!
Не тронь детей!

А вы, безудержные дети,
С умом пронзительным, как лед, —
С безумьем всех тысячелетий!
Вы, в ком поёт

И жалуется и томится —
Вся несказанная земля!
Вы, розы, вы, ручьи, вы, птицы,
Вы, тополя —

Вы, мертвых Лазарей из гроба
Толкающие в зелень лип,
Вы без кого давным давно бы
Уже погиб

Наш мир — до призрачности зыбкий
На трех своих гнилых китах —
— О золотые рыбки! — Скрипки
В моих руках! —

В короткой юбочке нелепой
Несущие богам — миры
Ко мне прижавшиеся слепо,
Как две сестры.

Вы, чей отец сейчас в Каире,
Чьей матери остыл и след —
Узнайте, вам обеим в мире
Спасенья нет!

«Хотите, — я сорву повязку?
Я вам открою новый путь?» . . .
— «Нет, — лучше расскажите сказку
Про что-нибудь» . . .

———

— О Эллис! — Прелесть, юность, свежесть.
Невинный и волшебный взор!
Плач ангела! — Зубовный скрежет!
Святой танцор.

Без думы о насущном хлебе
Живущий — чем и как — Бог весть!
Не знаю, есть ли Бог на небе! —
Но, если есть —

Уже сейчас, на этом свете,
Все до единого грехи
Тебе отпущены за эти
Мои стихи.

О Эллис! — Рыцарь без измены!
Сын голубейшей из отчизн!
С тобою раздвигались стены
В иную жизнь . . .

— Где б ни сомкнулись наши веки
В безлюдии каких пустынь —
Ты — наш и мы — твои. Во веки
Веков. Аминь.

Феодосия, 15 февраля-4 мая 1914 г.

С. Э.

Я с вызовом ношу его кольцо!
— Да, в вечности — жена, не на бумаге —
Чрезмерно узкое его лицо
Подобно шпаге.

Безмолвен рот его, углами вниз,
Мучительно великолепны брови —
В его лице трагически слились
Две древних крови.

Он тонок первой тонкостью ветвей,
Его глаза — прекрасно бесполезны!
Под крыльями раскинутых бровей
Две бездны.

В его лице я рыцарству верна
— Всем вам, кто жил и умирал без страху!
Такие — в роковые времена —
Слагают стансы — и идут на плаху!

Коктебель, 3 июня 1914 г.

АЛЕ

1

Ах, несмотря на гаданья друзей,
Будущее — неприглядно.
В платьице — твой вероломный Тезей,
Маленькая Ариадна.

Аля! Маленькая тень
На огромном горизонте!
Тщетно говорю: «Не троньте!»
— Будет день

Милый, грустный и большой:
День, когда от жизни рядом
Вся ты оторвешься взглядом
И душой;

День, когда с пером в руке
Ты на ласку не ответишь,
День, который ты отметишь
В дневнике;

День, когда, летя вперед
Своенравно, без запрета,
С ветром в комнату войдет —
Больше ветра!

Залу, спящую на вид,
Но волшебную, как сцена,
Юность Шумана смутит
И Шопена.

Целый день — настороже,
А ночами — черный кофе,
Лорда Байрона в душе
Тонкий профиль,

Метче гибкого хлыста
Остроумье наготове,
Гневно сдвинутые брови
И уста,

Жажда смерти на костре,
На параде, на концерте, —
Страстное желанье смерти
На заре,

Прелесть двух огромных глаз,
Их угроза, их опасность;
Недоступность, гордость, страстность.
В первый раз . . .

— Благородным без границ
Станет профиль — слишком белый,
Слишком длинными ресниц
Станут стрелы,

Слишком грустными — углы
Губ изогнутых и длинных,
И движенья рук невинных —
Слишком злы!

„La Belle au bois dormant?", Перро, —
Аля! Будет всё, что было:
Так же ново и старо,
Так же мило!

Будет — сердце, не воюй!
И не возмущайтесь, нервы! —
Будет первый бал и первый
Поцелуй!

Будет он — ему сейчас
Года три, или четыре . . .
— Аля! Это будет в мире —
В первый раз!

Феодосия, 13 ноября 1913 г.

2

Ты будешь невинной, тонкой,
Прелестной — и всем чужой.
Стремительной амазонкой,
Пленительной госпожой.

И косы твои пожалуй,
Ты будешь носить, как шлем,
Ты будешь царицей бала —
И всех молодых поэм.

И многих пронзит, царица,
Насмешливый твой клинок,
И все, что мне — только снится,
Ты будешь иметь у ног.

Все будет тебе покорно,
И все при тебе тихи.
Ты будешь, как я — бесспорно —
И лучше писать стихи . . .

Но будешь ли ты — кто знает —
Стремительно виски сжимать,
Как их вот сейчас сжимает
Твоя молодая мать.

5 июня 1914 г.

3

Да, я тебя уже ревную,
Такою ревностью, такой!
Да, я тебя уже волную
Своей тоской.

Моя несчастная природа
В тебе до ужаса ясна:
В твои без месяца два года —
Ты так грустна!

Все куклы мира, все лошадки
Ты без раздумия отдаешь —
За листик из моей тетрадки
И карандаш.

Ты с няньками в какой-то ссоре —
Все делать хочется самой!
И вдруг отчаянье, что «море
Ушло домой».

Не передашь тебя — как гордо
Я о тебе не повествуй! —
Когда ты просишь: «Мама, морду
Мне поцелуй».

Ты знаешь, все во мне смеется,
Когда кому-нибудь опять
Никак тебя не удается
Поцеловать.

Я — змей, похитивший царевну, —
Дракон! — Всем женихам — жених! —
О свет очей моих! — О, ревность
Ночей моих!

6 июня 1914 г.

П. Э.

1

День августовский тихо таял
В вечерней золотой пыли.
Неслись звенящие трамваи
И люди шли.

Рассеянно, как бы без цели,
Я тихим переулком шла.
И — помнится — тихонько пели
Колокола.

Воображая Вашу позу,
Я все решала по пути:
Не надо или надо — розу
Вам принести.

И все приготовляла фразу
Увы, забытую потом!
И вдруг — совсем нежданно! — сразу!—
Тот самый дом.

Многоэтажный, с видом скуки . . .
Считаю окна, вот подъезд.
Невольным жестом ищут руки
— На шее — крест.

Считаю серые ступени,
Меня ведущие к огню.
Нет времени для размышлений.
Уже звоню.

Я помню точно рокот грома,
И две руки свои, как лед.
Я называю Вас. — Он дома.
Сейчас придет.

Пусть с юностью уносят годы
Все незабвенное с собой. —
Я буду помнить все разводы
Цветных обой.

И бисеринки абажура,
И шум каких-то голосов,
И эти виды Порт-Артура,
И стук часов.

Миг, длительный по крайней мере —
Как час. Но вот шаги вдали.
Скрип раскрывающейся двери —
И Вы вошли.

И было сразу обаянье,
Склонился, королевски прост. —
И было страшное сиянье
Двух темных звезд.

И их огромные прищурия,
Вы не узнали нежный лик,
Какая здесь играла буря —
Еще за миг.

Я героически боролась.
— Мы с Вами даже ели суп! —
Я помню заглушенный голос
И очерк губ.

И волосы, пушистей меха
И, — самое родное в Вас! —
Прелестные морщинки смеха
У длинных глаз.

Я помню — Вы уже забыли —
Вы — там сидели, я — вот тут.
Каких мне стоило усилий,
Каких минут —

Сидеть, пуская кольца дыма,
И полный соблюдать покой...
Мне было прямо нестерпимо
Сидеть такой!

Вы эту помните беседу
Про климат и про буквы ять.
Такому странному обеду
Уж не бывать.

В пол-оборота, в полумраке
Смеюсь, сама не ожидав:
«Глаза породистой собаки,
— Прощайте, граф».

17 июня 1914 г.

2

Прибой курчавился у скал, —
Протяжен, пенен, пышен, звонок...
Мне Вашу дачу указал —
Ребенок.

Невольно замедляя шаг
— Идти смелей как бы не вправе —
И шла, прислушиваясь, как
Скрежещет гравий.

Скрип проезжающей арбы
Без паруса. — Сквозь плющ зеленый
Блеснули белые столбы
Балкона.

Была такая тишина,
Как только в полдень и в июле.
Я помню: Вы лежали на
Плетеном стуле.

Ах, не оценят — мир так груб! —
Пленительную Вашу позу.
Я помню: Вы у самых губ
Держали розу.

Не подымая головы,
И тем подчеркивая скуку —
О, этот жест, которым Вы
Мне дали руку!

Великолепные глаза
Кто скажет — отчего — прищуря,
Вы знали — что сейчас гроза
В моей лазури!

От солнца или от жары —
Весь сад казался мне янтарен,
Татарин продавал чадры,
Ушел татарин . . .

Вот рот, надменен и влекущ,
Был сжат — и было все понятно.
И солнце сквозь тяжелый плющ
Бросало пятна.

Все помню: на краю шэз-лонг
Соломенную Вашу шляпу,
Пронзительно звенящий гонг,
И запах

Тяжелых, переспелых роз
И складки в парусинных шторах,
Беседу наших папирос,
И шорох

С которым Вы, властитель дум,
На розу стряхивали пепел.
— Безукоризненный костюм
Был светел.

28 июня 1914 г.

3

ЕГО ДОЧКЕ

С ласточками прилетела
Ты в один и тот же час,
Радость маленького тела,
Новых глаз.

В марте месяце родиться
— Господи, внемли хвале! —
Это значит быть как птица
На земле.

Ласточки ныряют в небе,
В доме все пошло вверх дном:
Детский лепет, птичий щебет
За окном.

Дни ноябрьские кратки,
Долги ночи ноября.
Сизокрылые касатки —
За моря!

Давит маленькую грудку
Стужа северной земли.
Это ласточки малютку
Унесли.

Жалобный недвижим венчик,
Нежных век недвижен край.
Спи дитя. Спи, Божий птенчик.
Баю, бай!

12 июля 1914 г.

4

Война, война! — Хождение у киотов
И стрекот шпор.
Но нету дела мне до царских счетов
Народных ссор.

На кажется — надтреснутом канате
Я — маленький плясун.
Я тень от чьей-то тени. Я лунатик
Двух темных лун.

Москва, 16 июля 1914 г.

5

При жизни Вы его любили,
И в верности клялись навек,
Несите же венки из лилий
На свежий снег.

Над горестным его началом
Помедлите на краткий срок,
Чтоб он под этим первым снегом
Не слишком дрог.

Дыханием души и тела
Согрейте ледяную кровь!
Но, если в Вас уже успела
Остыть любовь —

К любовнику — любите братца,
Ребенка с венчиком на лбу,
Ему ведь не к кому прижаться
В своем гробу!

Ах, он, кого Вы так любили
И за кого пошли бы в ад,
Он в том, что он сейчас в могиле —
Не виноват!

От шороха шагов и платья
Дрожавший с головы до ног —
Как он открыл бы Вам объятья
Когда бы мог!

О женщины! Ведь он для каждой
Был весь — безумие и пыл!
Припомните с какою жаждой
Он вас любил!

Припомните, как каждый взгляд, вы
Ловили у его очей,
Припомните былые клятвы
Во тьме ночей.

Так и не будьте вероломны
У бедного его креста,
И каждая тихонько вспомни
Его уста.

И, прежде чем отдаться бегу
Саней с цыганским бубенцом,
Помедлите, к ночному снегу
Припав лицом.

Пусть нежно опушит вам щеки,
Растает каплями у глаз...
Я, пишущая эти строки,
Одна из вас —

Не данной клятвы не нарушу
— Жизнь! — Карие глаза твои! —
Молитесь, женщины, за душу
Самой Любви.

6

Осы́пались листья над Вашей могилой
И пахнет зимой.
Послушайте, мертвый, послушайте, милый:
Вы все-таки мой.

Смеетесь! — В блаженной крылатке дорожной!
Луна высока.
Мой — так несомненно и так непреложно,
Как эта рука.

Опять с узелком подойду утром рано
К больничным дверям.
Вы просто уехали в жаркие страны,
К великим морям.

Я Вас целовала! Я Вам колдовала!
Смеюсь над загробною тьмой!
Я смерти не верю! Я жду Вас с вокзала —
Домой!

Пусть листья осыпались, смыты и стерты
На траурных лентах слова.
И, если для целого мира Вы мертвый,
Я тоже мертва.

Я вижу, я чувствую, — чую Вас всюду!
— Что листья от Ваших венков!
Я Вас не забыла и Вас не забуду
Во веки веков!

Таких обещаний я знаю бесцельность,
Я знаю тщету.
Письмо в бесконечность. — Письмо в
беспредельность —
Письмо в пустоту.

4 октября 1914 г.

7

Милый друг, ушедший дальше, чем за море,
Вот Вам розы — протянитесь на них.
Милый друг, унесший самое, самое
Дорогое из сокровищ земных.

Я обманута и я обкрадена, —
Нет на память ни письма, ни кольца.
Как мне памятна малейшая впадина
Удивленного навеки лица.

Как мне памятен просящий и пристальный
Взгляд — поближе приглашавший сесть
И улыбка из великого Издали, —
Умирающего светская лесть...

Милый друг, ушедший в вечное плаванье,
Свежий холмик меж других бугорков, —
Помолитесь об мне в райской гавани,
Чтобы не было других моряков.

5 июня 1915 г.

ГЕРМАНИИ

Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам.
Ну, как же я тебя оставлю.
Ну, как же я тебя предам.

И где возьму благоразумье:
«За око — око, кровь — за кровь», —
Германия — мое безумье!
Германия — моя любовь!

Ну, как же я тебя отвергну,
Мой столь гонимый Vaterland,
Где все еще по Кёнигсбергу
Проходит узколицый Кант,

Где Фауста нового лелея
В другом забытом городке —
Geheimrath Goethe по аллее
Проходит с тросточкой в руке.

Ну, как же я тебя покину,
Моя германская звезда,
Когда любить наполовину
Я не научена, — когда, —

— От песенок твоих в восторге—
Не слышу лейтенантских шпор,
Когда мне свят святой Георгий
Во Фрейбурге, на Schwabenthor.

Когда меня не душит злоба
На Кайзера взлетевший ус,
Когда в влюбленности до гроба
Тебе, Германия, клянусь.

Нет ни волшебней, ни премудрей
Тебя, благоуханный край,
Где чешет золотые кудри
Над вечным Рейном — Лорелей.

Москва, 1 декабря 1914 г.

БАБУШКЕ

Продолговатый и твердый овал,
Черного платья раструбы...
Юная бабушка! Кто целовал
Ваши надменные губы?

Руки, которые в залах дворца
Вальсы Шопена играли...
По сторонам ледяного лица —
Локоны в виде спирали.

Темный, прямой и взыскательный взгляд,
Взгляд к обороне готовый.
Юные женщины так не глядят.
Юная бабушка, кто вы?

Сколько возможностей вы унесли
И невозможностей сколько —
В ненасытимую прорву земли,
Двадцатилетняя полька!

День был невинен, и ветер был свеж.
Темные звезды погасли.
Бабушка! Этот жестокий мятеж
В сердце моем — не от вас ли?..

4 сентября 1914 г.

ПОДРУГА

1

Вы счастливы? — Не скажешь! — Едва ли!
И лучше — Пусть!
Вы слишком многих, мнится, целовали —
Отсюда грусть.

Всех героинь шекспировских трагедий
Я вижу в Вас.
Вас, юная трагическая леди,
Никто не спас!

Вы так устали повторять любовный
Речитатив!
Чугунный обод на руке бескровной —
Красноречив!

Я Вас люблю! — Как грозовая туча
Над Вами — грех!
За то, что Вы язвительны и жгучи
И лучше всех.

За то что мы, что наши жизни — разны
Во тьме дорог.
За Ваши вдохновенные соблазны
И темный рок.

За то, что Вам, мой демон круглолобый
Скажу прости.
За то, что Вас — хоть разорвись над гробом!
Уж не спасти!

За эту дрожь, за то, что неужели
Мне снится сон?
За эту ироническую прелесть
Что Вы — не он.

16 октября 1914 г.

2

Под лаской плюшевого пледа
Вчерашний вызываю сон.
Что это было? — Чья победа?
Кто побежден?

Все передумываю снова,
Всем перемучиваюсь вновь.
В том, для чего не знаю слова,
Была ль любовь?

Кто был охотник? Кто добыча?
Всё дьявольски наоборот!
Что понял, длительно мурлыча
Сибирский кот?

В том поединке своеволий
Кто, в чьей руке был только мяч,
Чье сердце? Ваше ли, мое ли
Летело вскачь?

И все-таки — что ж это было?
Чего так хочется и жаль?
Так и не знаю: победила ль?
Побеждена ль?

23 октября 1914 г.

3

Сегодня таяло, сегодня
Я простояла у окна.
Взгляд — отрезвленней, грудь свободней
Опять умиротворена.

Не знаю почему. Должно быть
Устала попросту душа
И как-то не хотелось трогать
Мятежного карандаша.

Так простояла я — в тумане —
Далёкая добру и злу,
Тихонько пальцем барабаня
По чуть звенящему стеклу.

Душой не лучше и не хуже,
Чем первый встречный — этот вот —
Чем перламутровые лужи,
Где расплескался небосвод.

Чем пролетающая птица,
И попросту бегущий пес
И даже нищая певица
Меня не довела до слез.

Забвенья милое искусство
Душой усвоено уже.
Какое-то большое чувство
Сегодня таяло в душе.

24 октября 1914 г.

4

Вам одеваться было лень
И было лень вставать из кресел.
— А каждый Ваш грядущий день
Моим весельем был бы весел!

Особенно смущало Вас
Идти так поздно в ночь и холод.
— А каждый Ваш грядущий час
Моим весельем был бы молод!

Вы это сделали без зла,
Невинно и непоправимо.
— Я Вашей юностью была,
Которая проходит мимо.

25 октября 1914 г.

5

Сегодня, часу в восьмом,
Стремглав по Большой Лубянке,
Как пуля, как снежный ком,
Куда-то промчались санки.

Уже прозвеневший смех...
Я так и застыла взглядом:
Волос рыжеватый мех,
И кто-то высокий — рядом!

Вы были уже с другой,
С ней путь открывали санный
С желанной и дорогой, —
Сильней, чем я — желанной!

— Oh, je n'en puis plus, j'étouffe!
Вы крикнули во весь голос,
Размашисто запахнув
На ней меховую полость.

Мир весел и вечер лих!
Из муфты летят покупки...
Так мчались Вы в снежный вихрь
Взор к взору и шубка к шубке.

И был жесточайший бунт
И снег осыпался бело.
Я около двух секунд
Не более вслед глядела.

И гладила длинный ворс
На шубке своей — без гнева.
Ваш маленький Кай замерз,
О снежная королева!

26 октября 1914 г.

6

Ночью над кофейной гущей
Плачет, глядя на Восток.
Рот невинен и распущен
Как чудовищный цветок.

Скоро месяц, юн и тонок, —
Сменит алую зарю,
Сколько я тебе гребенок
И колечек подарю!

Юный месяц между веток
Никого не устерег.
Сколько подарю браслеток
И цепочек и серег!

Как из-под тяжелой гривы
Блещут яркие зрачки!
Спутники твои ревнивы?
Кони кровные легки!

6 декабря 1914 г.

7

Как весело сияя снежинками
Ваш серый, мой соболий мех,
Как по рождественскому рынку мы
Искали ленты, ярче всех.

Как розовыми и несладкими
Я вафлями объелась — шесть!
Как всеми рыжими лошадками
Я умилялась в Вашу честь.

Как рыжие поддевки — парусом
Божась, сбывали нам тряпье,
Как на чудных московских барышень
Дивилось глупое бабье.

Как в час, когда народ расходится
Мы нехотя вошли в собор,
Как на старинной Богородице
Вы приостановили взор.

Как этот лик с очами хмурыми
Был благостен и изнеможен,
В киоте с круглыми амурами
Елизаветинских времен.

Как руку Вы мою оставили,
Сказав: «О, я ее хочу!»
С какою бережностью вставили
В подсвечник желтую свечу . . .

— О светская, с кольцом опаловым
Рука! — О, вся моя напасть! —
Как я икону обещала Вам
Сегодня ночью же украсть!

Как в монастырскую гостиницу
— Гул колокольный и закат —
Блаженные, как именинницы,
Мы грянули, как полк солдат.

Как я Вам хорошеть до старости
Клялась, и присыпала соль,
Как трижды мне — Вы были в ярости! —
Червонный выходил король.

Как голову мою сжимали Вы,
Лаская каждый завиток,
Как Вашей брошечки эмалевой
Мне губы холодил цветок.

Как я по Вашим узким пальчикам
Водила сонною щекой,
Как вы меня дразнили мальчиком,
Как я Вам нравилась такой . . .

Декабрь 1914 г.

8

Свободно шея поднята,
Как молодой побег.
Кто скажет имя, кто — лета,
Кто край ее, кто — век?

Извилина неярких губ
Капризна и слаба,
Но ослепителен уступ
Бетховенского лба.

До умилительности чист
Истаявший овал,
Рука, к которой шел бы хлыст
И в серебре — опал.

Рука, достойная смычка,
Ушедшая в шелка,
Неповторимая рука,
Прекрасная рука.

10 января 1915 г.

9

Ты проходишь своей дорогою
И руки твоей я не трогаю,
Но тоска во мне — слишком вечная,
Чтоб была ты мне — первой встречною.

Сердце сразу сказало: «Милая!»
Все тебе наугад — простила я,
Ничего не знав, — даже имени!
О, люби меня, о люби меня!

Вижу я — по губам извилиной,
По надменности их усиленной,
По тяжелым надбровным выступам:
Это сердце берется — приступом!

Платье — шелковым черным панцирем,
Голос — с чуть хрипотцой цыганскою,
Все в тебе мне до боли нравится, —
Даже то, что ты не красавица!

Красота, не увянешь за лето.
Не цветок — стебелек из стали ты,
Злее злого, острее острого
Увезенный — с какого острова?

Опахалом чудишь, или тросточкой,
В каждой жилке и в каждой косточке,
В форме каждого злого пальчика,
Нежность женщины, дерзость мальчика.

Все усмешки стихом парируя,
Открываю тебе и миру я
Все, что нам в тебе уготовано,
Незнакомка с челом Бетховена!

14 января 1915 г.

10

Могу ли не вспомнить я
Тот запах Уайт-Роз и чая
И севрские фигурки
Над пышащим камельком...

Мы были: я — в пышном платье
Из чуть золотого фая,
Вы — в вязаной черной куртке
С крылатым воротником.

Я помню, с каким вошли Вы
Лицом, без малейшей краски,
Как встали, кусая пальчик,
Чуть голову наклоня.

И лоб Ваш властолюбивый
Под тяжестью рыжей краски —
Не женщина и не мальчик,
Но что-то сильнее меня!

Движением беспричинным
Я встала, нас окружили.
И кто-то в шутливом тоне:
«Знакомтесь же господа!»

И руку движением длинным
Вы в руку мою вложили,
И нежно в моей ладони
Помедлил осколок льда.

С каким-то, глядевшим косо,
Уже предвкушая стычку,
Я полулежала в кресле,
Вертя на руке кольцо.

Вы вынули папиросу,
И я поднесла Вам спичку,
Не зная, что делать, если
Вы взглянете мне в лицо.

Я помню — над синей вазой —
Как звякнули наши рюмки.
«О будьте моим Орестом!»
И я отдала цветок.

С зарницею сероглазой
Из замшевой черной сумки
Вы вынули длинным жестом
И выронили платок.

28 января 1915 г.

11

Все глаза под солнцем жгучи,
День не равен дню.
Говорю тебе на случай,
Если изменю:

Чьи б не целовала губы
Я в любовный час,
Черной полночью кому бы
Страшно не клялась —

Жить, как мать велит ребенку,
Как цветочек цвесть,
Никогда ни в чью сторонку
Оком не повесть . . .

Видишь крестик кипарисный?
— Он тебе знаком! —
Все проснется — только свистни
Под моим окном!

22 февраля 1915 г.

12

Сини подмосковные холмы.
В воздухе чуть теплом — пыль и деготь.
Сплю весь день, весь день смеюсь —
должно быть,
Выздоравливаю от зимы.

Я иду домой возможно тише.
Ненаписанных стихов — не жаль!
Стук колес и жареный миндаль
Мне дороже всех четверостиший.

Голова до прелести пуста
От того, что сердце слишком полно!
Дни мои, как маленькие волны,
На которые гляжу с моста.

Чьи-то взгляды слишком уж нежны
В нежном воздухе, едва нагретом . . .
Я уже заболеваю летом,
Еле выздоровев от зимы.

13 марта 1915 г.

13

Повторю в канун разлуки,
Под конец любви,
Что любила эти руки
Властные твои,

И глаза — кого — кого-то
Взглядом не дарят!
Требующие отчета
За случайный взгляд.

Всю тебя с твоей треклятой
Страстью — видит Бог! —
Требующую расплаты
За случайный вздох.

И еще скажу устало,
Слушать не спеши!
Что твоя душа мне стала
Поперек души.

И еще скажу тебе я:
Все равно — канун! —
Этот рот до поцелуя
Твоего был юн.

Взгляд — до взгляда — смел и светел,
Сердце — лет пяти . . .
Счастлив кто тебя не встретил
На своем пути!

28 апреля 1915 г.

14

Есть имена, как душные цветы,
И взгляды есть, как плящущее пламя . . .
Есть темные извилистые рты,
С глубокими и влажными углами.

Есть женщины — их волосы, как шлем,
Их веер пахнет гибельно и тонко,
Им тридцать лет. — Зачем, тебе зачем
Моя душа спартанского ребенка?

Вознесение 1915 г.

15

Хочу у зеркала, где муть
И сон туманящий,
Я выпытать — куда Вам путь,
И где пристанище.

Я вижу: мачта корабля,
И Вы — на палубе . . .
Вы — в дыме поезда . . . Поля
В вечерней жалобе . . .

Вечерние поля в росе,
Над ними — во́роны . . .
— Благословляю Вас на все
Четыре стороны!

3 мая 1915 г.

16

В первой любила ты
Первенство красоты,
Кудри, с налетом хны,
Жалобный вой зурны,
Звон — под конем — кремня,
Стройный прыжок с коня,
И в самоцветных зернах —
Два человека узорных.

А во второй — другой —
Тонкую бровь дугой,
Шелковые ковры
Розовой Бухары,

Перстни на всей руке,
Родинку на щеке,
Вечный загар сквозь блонды,
И полунощный Лондон.

Третья тебе была
Чем-то еще мила . . .

— Что от меня останется
В сердце твоем, странница?

14 июля 1915 г.

17

Вспомните: всех голов мне дороже
Волосок один своей головы.
И идите себе . . . Вы тоже
И Вы тоже, и Вы.

Разлюбите меня, все разлюбите!
Стерегите не меня поутру.
Чтоб могла я спокойно выйти
Постоять на ветру.

6 мая 1915 г.

Легкомыслие — милый грех,
Милый спутник и враг мой милый!
Ты в глаза мне взбрызнуло смех
И мазурку взбырзнуло в жилы.

Научив не хранить кольца,
С кем бы жизнь меня ни венчала,
Начинать наугад — с конца,
И кончать — еще до начала.

Быть, как стебель, и быть, как сталь
В жизни, где мы так мало можем,
Шоколадом лечить печаль
И смеяться в лицо прохожим.

3 марта 1915 г.

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной —
Распущенной — и не играть словами
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем ни ночью — всуе . . .
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо Вам и сердцем и рукой
За то, что Вы меня — не зная сами! —
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами
За наши не-гулянья под луной,
За солнце не у нас над головами, —
За то, что Вы больны — увы! — не мной,
За то, что я больна — увы! — не Вами.

3 мая 1915 г.

Безумье и благоразумье,
Позор — и честь,
Всё, что наводит на раздумье,
Всё слишком есть

Во мне — все каторжные страсти
Свились в одну!
Так в волосах моих — все масти
Ведут войну.

Я знаю весь любовный шёпот,
— Ах, наизусть! —
— Мой двадцатидвухлетний опыт —
Сплошная грусть.

Но облик мой — невинно розов,
— Что ни скажи! —
Я виртуоз из виртуозов
В искусстве лжи.

В ней, запускаемой как мячик
— Ловимый вновь —
Моих прабабушек — полячек
Сказалась кровь.

Лгу оттого, что по кладбищам
Трава растет,
Лгу оттого, что по кладбищам
Метель метет . . .

От скрипки — от автомобиля —
Шелков — огня . . .
От пытки, что не все любили
Одну меня!

От боли, что не я — невеста
У жениха . . .
От жеста и стиха — для жеста
И для стиха.

От нежного боа на шее . . .
И как могу
Не лгать, — раз голос мой нежнее, —
Когда я лгу . . .

3 января 1915 г.

Голоса с их игрой сулящей,
Взгляды яростной черноты,
Опаленные и палящие
Роковые рты. —

О, я с Вами легко боролась!
Но, — что делаете со мной
Вы, насмешка в глазах, и в голосе —
Холодок родной!

14 марта 1915 г.

Бессрочно кораблю не плыть
И соловью не петь.
Я столько раз хотела жить
И столько умереть!

Устав, как в детстве от лото,
Я встану от игры,
Счастливая не верить в то,
Что есть еще миры.

3 мая 1915 г.

Что видят они? — Пальто
На юношеской фигуре
Никто не видал, никто,
Что полы его, как буря!

Остер, как мои лета,
Мой шаг молодой и четкий
И вся моя правота —
Вот в этой моей походке.

А я ухожу навек
И думаю: день весенний
Запомнит мой бег — и бег
Моей сумасшедшей тени.

Весь воздух — такая лесть,
Что я быстроту удвою.
Нет ветра, но ветер есть
Над этой головою!

Летит за крыльцом крыльцо,
Весь мир пролетает сбоку,
Я знаю свое лицо,
Сегодня оно жестоко.

Как птицы полночный крик
Пронзителен бег летучий.
Я чувствую: в этот миг,
Мой лоб рассекают — тучи!

Вознесение 1915 г.

Анне Ахматовой

Узкий, нерусский стан —
Над фолиантами.
Шаль из турецких стран
Пала, как мантия.

Вас передать одной
Ломаной черной линией.
Холод — в весельи, зной —
В Вашем унынии.

Вся Ваша жизнь — озноб,
И завершится — чем она?
Облачный темен лоб
Юного демона.

Каждого из земных
Вам заиграть — безделица!
И безоружный стих
В сердце Вам целится.

В утренний сонный час
— Кажется, четверть пятого, —
Я полюбила Вас
Анна Ахматова.

11 февраля 1915 г.

Какой-нибудь предок мой был скрипач,
Наездник и вор при этом.
Не потому ли мой нрав бродяч
И волосы пахнут ветром?

Не он ли, смуглый, крадет с арбы
Рукой моей — абрикосы,
Виновник страстной моей судьбы,
Курчавый и горбоносый?

Дивясь на пахаря за сохой,
Вертел меж губ — шиповник.
— Плохой товарищ он был, — лихой
И ласковый был любовник!

Любитель трубки, луны и бус,
И всех молодых соседок . . .
Еще мне думается, что — трус
Был мой желтоглазый предок.

Что, душу чёрту продав за грош,
Он в полночь не шел кладбищем.
Еще мне думается, что нож
Носил за голенищем,

Что не однажды из-за угла
Он прыгал — как кошка — гибкий . . .
И почему-то я поняла,
Что он — *не* играл на скрипке!

И было всё ему нипочем, —
Как снег прошлогодний — летом!
Таким мой предок был скрипачом.
Я стала — таким поэтом.

23 июня 1915 г.

В тумане синее ладана
Панели — как серебро,
Навстречу летит негаданно —
Развеянное перо.

И вот уже взгляды скрещены,
И дрогнул — о чем моля? —
Твой голос с певучей трещиной
Богемского хрусталя.

Мгновенье тоски и вызова,
Движенье, как длинный крик,
И волны тумана сизого,
Окунутый легкий лик.

Все длилось одно мгновение,
Отчалила . . . уплыла . . .
Соперница! — Я не менее
Прекрасной тебя ждала.

5 сентября 1915 г.

С большою нежностью — потому,
Что скоро уйду от всех, —
Я все раздумываю, кому
Достанется волчий мех,

Кому — разнеживающий плед,
И тонкая трость с борзой,
Кому — серебряный мой браслет,
Осыпанный бирюзой . . .

И всé записки, и всé цветы,
Которых хранить — невмочь . . .
Последняя рифма моя — и ты
Последняя моя ночь!

22 сентября 1915 г.

Заповедей не блюла, не ходила к причастью.
Видно, пока надо мной не пропоют литию, —
Буду грешить, — как грешу, как грешила: со
страстью!
Господом данными мне чувствами — всеми
пятью!

Други! — Сообщники! — Вы, чьи наущения —
жгучи!
— Вы сопреступники! — Вы, нежные учителя!
Юноши, девы, деревья, созвездия, тучи, —
Богу на страшном суде вместе ответим, Земля!

26 сентября 1915 г.

Я знаю правду! Все прежние правды — прочь!
Не надо людям на земле бороться!
Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.
О чем, поэты, любовники, полководцы?

Уж ветер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звездная в небе застынет вьюга,
И под землею скоро уснем мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.

3 октября 1915 г.

Два солнца стынут — о, Господи, пощади! —
Одно — на небе, другое — в моей груди.

Как эти солнца — прощу ли себе сама? —
Как эти солнца сводили меня с ума!

И оба стынут — не больно от их лучей!
И то остынет первым, что горячей.

5 октября 1915 г.

Цветок к груди приколот,
Кто приколол, — не помню.
Ненасытен мой голод
На грусть, на страсть, на смерть.

Виолончелью, скрипом
Дверей и звоном рюмок,
И лязгом шпор, и криком
Вечерних поездов. —

Выстрелом на охоте
И бубенцами троек —
Зовете вы, зовете
Нелюбленные мной!

Но есть еще услада:
Я жду того, кто первый
Поймет меня, как надо —
И выстрелит в упор.

22 октября 1915 г.

Цыганская страсть разлуки!
Чуть встретишь — уж рвешься прочь!
Я лоб уронила в руки,
И думала, глядя в ночь:

Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть —
Как сами себе верны.

Октябрь 1915 г.

Полнолунье и мех медвежий,
И бубенчиков легкий пляс...
Легкомысленнейший час! — Мне же
Глубочайший час.

Умудрил меня встречный ветер,
Снег умилостивил мне взгляд,
На пригорке монастырь светел
И от снега — свят.

Вы снежинки с груди собольей
Мне сцеловываете, друг,
Я на деревцо гляжу, — в поле
И на лунный круг.

За широкой спиной ямщицкой
Две не встретятся головы.
Начинает мне Господь — сниться,
Отоснились — Вы.

27 ноября 1915 г.

Быть в аду нам, сестры пылкие,
Пить нам адскую смолу, —
Нам, что каждою-то жилкою
Пели Господу хвалу!

Нам, над люлькой да над прялкою
Не клонившимся в ночи,
Уносимым лодкой валкою
Под полою епанчи.

В тонкие шелка китайские
Разряженным с утра,
Заводившим песни райские
У разбойного костра.

Нерадивым рукодельницам
— Шей не шей, а все по швам! —
Плясовницам и свирельницам,
Всему миру — госпожам!

То едва прикрытым рубищем,
То в созвездиях коса.
По острогам да по гульбищам
Прогулявшим небеса.

Прогулявшим в ночи звездные
В райском яблочном саду . . .
— Быть нам, девицы любезные,
Сестры милые — в аду.

Ноябрь 1915 г.

День угасший,
Нам порознь нынче час.
Это жестокий час —
Для Вас же.

Время — совье,
Пусть птенчика прячет мать.
Рано Вам начинать
С любовью.

Помню первый
Ваш шаг в мой недобрый дом, —
С пряничным петухом
И вербой.

Отрок чахлый,
Вы жимолостью в лесах,
Облаком в небесах —
Вы пахли!

На коленях
Снищу ли прощения за
Слезы в твоих глазах
Оленьих.

Милый сверстник,
Еще в Вас душа — жива!
Я же люблю слова
И перстни.

18 декабря 1915 г.

Лежат они, написанные наспех,
Тяжелые от горечи и нег.
Между любовью и любовью распят
Мой миг, мой час, мой день, мой год,
мой век.

И слышу я, что где-то в мире — грозы,
Что амазонок копья блещут вновь.
— А я пера не удержу! — Две розы
Сердечную мне высосали кровь.

Москва, 20 декабря 1915 г.

Даны мне были и голос любый,
И восхитительный выгиб лба.
Судьба меня целовала в губы,
Учила первенствовать судьба.

Устам платила я щедрой данью,
Я розы сыпала на гроба . . .
Но на бегу меня тяжкой дланью
Схватила за волосы Судьба!

Петербург, 31 декабря 1915 г.

Он приблизился, крылатый,
И сомкнулись веки над сияньем глаз.
Пламенная — умерла ты
В самый тусклый час.

Что искупит в этом мире
Эти две последних, медленных слезы?
Он задумался. — Четыре
Выбили часы.

Незамеченный он вышел,
Слово унося, важнейшее из слов.
Но его никто не слышал —
Твой предсмертный зов!

Затерялся в море гула
Крик, тебе с душою разорвавший грудь.
Розовая, ты тонула
В утреннюю муть . . .

Москва, 1912 г.

В тяжелой мантии торжественных обрядов,
Неумолимая, меня не встреть,
На площади, под тысячами взглядов,
Позволь мне умереть.

Чтобы лился на волосы и в губы
Полуденный огонь,
Чтоб были флаги, чтоб гремели трубы
И гарцевал мой конь.

Чтобы церквей сияла позолота,
В раскаты грома превращался гул,
Чтоб из толпы мне юный кто-то
И кто-то маленький кивнул.

В лице младенца ли, в лице ли рока
Ты явишься — моя мольба тебе:
Дай умереть прожившей одиноко,
Под музыку в толпе.

Феодосия, 1913 г.

Стихотворения
1915-1918

Жизнь приходит не с грохотом и
громом,
А так: падает снег,
Лампы горят, к дому
Подошел человек.
Длинной искрой звонок вспыхнул,
Вошел. Вскинул глаза.
В доме совсем тихо.
Горят образа.

1915 г.

ЕВРЕЯМ

Кто ни топтал тебя — и кто ни плавил,
О купина неопалимых роз!
Единое, что на земле оставил
Незыблемого по себе Христос:

Израиль! приближается второе
Владычество твое, за все гроши
Вы кровью заплатили нам: Герои!
Предатели! Пророки! Торгаши!

В любом из вас, и в том, что при огарке
Считает золотые в узелке, —
Христос слышнее говорит, чем в Марке,
Матвее, Иоанне и Луке.

По всей земле — от края и до края —
Распятие и снятие с креста.
С последним из сынов твоих, Израиль,
Воистину мы погребем Христа!

Москва, 1916 г.

ИЗ ЦИКЛА «ДОН-ЖУАН»

3.

После стольких роз, городов и тостов —
Ах, ужель не лень
Вам любить меня? Вы — почти что остов,
Я — почти что тень.

И зачем мне знать, что к небесным силам
Вам взывать пришлось?
И зачем мне знать, что пахнуло Нилом
От моих волос?

Нет, уж лучше я расскажу Вам сказку:
Был тогда — январь.
Кто-то сбросил маску. Монах под маской
Проносил фонарь.

Чей-то пьяный голос молил и злился
У соборных стен
В этот самый час Дон Жуан Кастильский
Повстречал — Кармен.

4.

Ровно — полночь
Луна — как ястреб
— Что — глядишь?
— Так гляжу!

Нравлюсь? — Нет.
Узнаешь? Быть может
Дон Жуан я.
— А я — Кармен.

22 февраля 1917 г.

Так и буду лежать, лежать
Восковая, да ледяная, да скорченная.
Так и будут шептать, шептать:
— Ох шальная! ох, чумная! ох, порченная!

А монашки-то вздыхать, вздыхать:
А монашки-то — читать, читать,
— Святый Боже! Святый Боже! Святый Крепкий!

Не помилует, монашки, — ложь!
Захочу — хвать нож!
Захочу — и гроб в щепки!
Да нет — не хочу —
Молчу.

Я тебе, дружок,
Я слово скажу:
Кому — вверху гулять,
Кому — внизу лежать.

Хочешь — целуй
В желтый лоб,
А не хочешь — так
Заколотят в гроб.

Дело такое:
Стала умна.
Вот оттого я
Ликом темна.

2 мая 1917 г.

— Что же! коли кинут жребий —
Будь! любовь!
В грозовом — безумном — небе —
Лед и кровь.

Жду тебя сегодня ночью
После двух:
В час, когда во мне рокочут
Кровь и дух.

13 мая 1917 г.

ДОН-ЖУАН

И падает шелковый пояс
К ногам его — райской змеей...
А мне говорят — успокоюсь
Когда-нибудь там, под землей.

Я вижу надменный и старый
Свой профиль на белой парче.
А где-то — гетеры, гитары —
И юноша в черном плаще.

И кто-то, под маскою кроясь:
— Узнайте! — Не знаю. — Узнай!
И падает шелковый пояс
На площади — круглой, как рай.

14 мая 1917 г.

И призвал тогда князь света — князя тьмы,
И держал он князю тьмы — такую речь:
— Оба княжим мы с тобою. День и ночь
Поделили поровну с тобой.

Так чего ж за нею белым днем
Ходишь, бродишь, речь заводишь под окном?

Отвечает Князю света — Темный князь:
— То не я хожу, брожу, Пресветлый, нет!
То сама она в твой белый Божий день
По пятам моим гоняет словно тень.

То сама она мне вздоху не дает, —
Днем и ночью обо мне поет.

И сказал тогда Князь света — Князю тьмы:
— Ох, великий ты обманщик, Темный князь!
Ходит-бродит, речь заводит, песнь поет?
Ну, посмотрим, Князь темнейший, чья возьмет?

И пошел тогда промеж князьями спор.
О сю пору он не кончен, княжий спор.

4 июня 1917 г.

ДОН-ЖУАН

И разжигая во встречном взоре
Печаль и блуд.
Проходишь городом — зверски-черен,
Небесно — худ.

Томленьем застланы, как туманом,
Глаза твои.
В петлице — роза, по всем карманам —
Слова любви!

Да, да. Под вой ресторанной скрипки
Твой слышу зов.
Я посылаю тебе улыбку,
Король воров!

И узнаю, раскрывая крылья —
Тот самый взгляд,
Каким глядел на меня в Кастилье —
Твой старший брат.

8 июня 1917 г.

А пока твои глаза
Черные — ревнивы,
А пока на образа
Молишься лениво —
Надо, мальчик, целовать
В губы — без разбору.
Надо, мальчик, под забором
И дневать и ночевать.

И плывет церковный звон
По дороге белой.
На заре-то — самый сон
Молодому телу!
А погаснут все огни —
Самая забава!
А не то пройдут без славы
Черны ночи, белы дни.

Летом — светло без огня,
Летом — ходишь ходко.
У кого увел коня,
У кого красотку.
— Эх, и врет, кто нам поет
Спать с тобою розно!
Милый мальчик, будет поздно,
Наша молодость пройдет!

Не взыщи, шальная кровь,
Молодое тело!
Я про бедную любовь
Спела — как сумела.
Будет день — под образа
Ледяная ляжу.
— Кто тогда тебе расскажет
Правду, мальчику, в глаза?

10 июня 1917 г,

КАРМЕН

Божественно, детски-плоско
Короткое, в сборку платье.
Как стороны пирамиды
От пояса мчат бока.

Какие большие кольца
На маленьких черных пальцах!
Какие большие пряжки
На крохотных башмачках!

А люди едят и спорят,
А люди играют в карты.
Не знаете, что на карту
Поставили, игроки!

А ей — ничего не надо!
А ей — ничего не надо!
— Вот грудь моя. Вырви сердце —
И пей мою кровь, Кармен!

13 июня 1917 г.

2.

Стоит, запрокинув горло,
И рот закусила в кровь.
А руку под грудь уперла,
Под левую, где любовь.

— Склоните колена! Что вам,
Аббат, до моих колен?
Так кончилась — этим словом
Последняя ночь Кармен.

18 июня 1917 г.

А царит над нашей стороной —
Глаз дурной, дружок, да час худой.

А всего у нас, дружок, красы —
Что две русых, вдоль спины, косы,
Две несжатые, в поле, полосы.

А затем, чтобы в единый год
Не повис по рощам весь народ —

Для того у нас заведено
Зеленое шалое вино.

А по селам — ивы — дерева
Да плакун-трава, разрыв-трава . . .

Не снести тебе российской ноши.
— Проходите, господин хороший!

11 июля 1917 г.

И в заточеньи зимних комнат
И сонного Кремля —
Я буду помнить, буду помнить
Просторные поля.

И легкий воздух деревенский,
И полдень, и покой, —
И дань моей гордыни женской
Твоей слезы мужской.

27 июля 1917 г.

Из Польши твоей спесивой
Принес ты мне речи льстивые,
Да шапочку соболиную,
Да руку с перстами длинными,
Да нежности, да поклоны,
Да княжеский герб с короной.
А я тебе принесла
Серебряных два крыла.

20 августа 1917 г.

Собрались, льстецы и щеголи,
Мы не страсти праздник праздновать.
Страсть — то с голоду да холоду, —
Распашная, безобразная.

Окаянствует и пьянствует,
Рвет писание на части . . .
— Ах, гондолой венецианскою
Подплывает сладострастье!

Роза опытных садовников
За оградою церковною,
Райское вино любовников —
Сладострастье, роза кровная!

Лейся, влага вдохновенная,
Вожделенное токайское —
За * — блаженное,
Сладострастье, роскошь райскую!

22 августа 1917 г.

С головою на блещущем блюде
Кто-то вышел. Не я ли сама?
На груди у меня — мертвой грудою —
Целый город, сошедший с ума.

А глаза у него, как у рыбы
Стекленеют, глядят в небосклон.
А над городом — мертвою глыбою —
Сладострастье — вечерний закон.

22 августа 1917 г.

ИОСИФ

Царедворец ушел во дворец,
Раб согнулся над коркою черствой,
Изломала от скуки ларец
Молодая жена царедворца.

* Пропуск в рукописи.

Голубям раскусила зоба,
Исщипала служанку — от скуки,
И теперь молодого раба
Притянула за смуглые руки.

— Отчего твои очи грустны?
В погребах наших царские вина!
— Бедный юноша — я, вижу сны
И служу своему господину.

Позабавь же свою госпожу!
Солнце жжет, господин наш — далеко . . .
— Я тому господину служу,
Чье не дремлет огромное око.

Длинный лай дозирающих псов,
Дуновение рощи миндальной.
Рокот спорящих голосов
В царедворческой опочивальне.

— Я сберег господину казну.
— Раб! Казна и жена — не едино.
— Ты алмаз у него. Как дерзну
На алмаз своего господина?!

Спор Иосифа! Перед тобой —
Что — Иаково единоборство!
И глотает — с улыбкою — вой
Молодая жена царедворца.

23 августа 1917 г.

Нет! Еще любовный голод
Не раздвинул этих уст.
Нежен — оттого что молод,
Нежен — оттого что пуст.

Но увы! На этот детский
Рот — Шираза лепестки! —
Все людское людоедство
Точит зверские клыки.

23 августа 1917 г.

КНЯЗЬ ТЬМЫ

1

Князь, я только ученица
Вашего ученика.

Колокола и небо в темных тучах.
На перекрестке — герб и вязь.
Два голоса — плывучих и певучих:
— Сударыня? — Мой князь?

— Что Вас приводит к моему подъезду?
— Мой возраст и Ваш взор.
Цилиндр снят, и тьму волос прорезал
Серебряный пробор.

— Ну что сказали на денек вчерашний
Российские умы?

2

Страстно рукоплеща
Лает и воет чернь.
Медленно встав с колен
Кланяется Кармен.

(Взором кого ища? — Тихим сейчас — до дрожи.)
Безучастны в царской ложе
Два плаща.

И один — глаза темны —
Воротник вздымая стройный:
— Какова, Жуан? — Достойна
Вашей светлости, Князь Тьмы.

3 июля 1917 г.

Мое последнее величье
На дерзком голоде заплат.
В сухие руки ростовщичьи
Снесён последний мой заклад.
Промотанному в ночь наследству —
У Господа — особый счёт.
Мой не сошелся. Не по средствам
Мне эта роскошь: ночь и Бог.
Простимся ж — коротко и просто
— Раз руки не умеют красть!
С тобой, нелепейшая роскошь,
Роскошная нелепость — страсть.

1 сентября 1917 г.

Без Бога, без хлеба, без крова,
— Со страстью! со звоном! со славой! —
Ведет арестант чернобровый
В Сибирь молодую жену.

Когда-то с полуночных палуб
Взирали на Хиос и Смирну
И мрамор столичных кофеен
Им руки в перстнях холодил.

Какие о страсти прекрасной
Велись разговоры под скрипку!
Тонуло лицо чужестранца
В египетском тонком дыму.

Под низким рассеянным небом
Вперед по сибирскому тракту
Ведет господин чужестранный
Домой — молодую жену.

3-го сентября 1917 г.

Запах, запах
Твоей сигары!
Смуглой сигары
Запах!
Перстни, перья,
Глаза, панамы . . .
Синяя ночь
Монако.

Запах странный
Немножко затхлый:
В красном тумане —
Запад.
Столб фонарный
И рокот Темзы,
Чем же еще?
Чем же?

Ах, Веной!
Духами, сеном, сценой,
Изменой.

23 сентября 1917 г.

Расцветает сад, отцветает сад.
Ветер встреч подул, ветер мчит разлук.
Из обрядов всех — чту один обряд:
Целованье рук.

Города стоят и стоят дома.
Юным женщинам красота дана,
Чтоб сходить с ума — и сводить с ума
Города. Дома.

В мире музыка — изо всех окон,
И цветет, цветет Моисеев куст.
Из законов всех — чту один закон:
Целованье уст.

12 декабря 1917 г.

РУАН

И я вошла, и я сказала: здравствуй!
Пора, король, во Францию, домой
И я опять веду тебя на царство,
И ты опять обманешь, Карл седьмой!

Не ждите, принц, скупой и невеселый!
Бескровный принц, не распрямивший плеч, —
Чтоб Иоанна разлюбила — голос,
Чтоб Иоанна разлюбила — меч.

И был Руан, в Руане — Старый рынок
— Все будет вновь: последний взор коня,
И первый треск невинных хворостинок,
И первый всплеск соснового огня.

А за плечом — товарищ мой крылатый
Опять шепнет: — Терпение, сестра!
Когда сверкнут серебряные латы
Сосновой кровью моего костра.

Декабрь 1917 г.

Как рука с твоей рукой
Мы стояли на мосточку.
Юнкерочек мой морской
Невысокого росточку.

Низкий, низкий тот туман,
Буйны, злы морские хляби.
Твой сердитый капитан,
Быстрый, быстрый твой корабль.

Я пойду к себе домой,
Угощусь из смертной рюмки.
Юнга, юнга мой,
Юнга, морской службы юнкер!

22 декабря 1917 г.

Новый год я встретила одна.
Я, богатая, была бедна,
Я крылатая, была проклятой.

Где-то было много-много сжатых
Рук — и много старых вин.
А крылатая была — проклятой!
А единая была — одна!
Как луна — одна, в глазу окна.

31 декабря 1917 г.

Да будет день! — и тусклый день туманный,
Как саван пал над мертвою водой.
Взглянув на мир с полуулыбкой странной:
Да будет ночь! — сказал другой.

И отвернув задумчивые очи,
Он продолжал заоблачный свой путь.
Тебя пою, родоначальник ночи,
Моим ночам и мне сказавший: будь.

1917 г.

Как много красавиц, а ты — один,
Один — против ста тридцати Кармен
И каждая держит цветок в зубах,
И каждая просит — роли.

У всех лихорадка в глазах и лесть
На красных губах, и такая страсть
К мехам и духам, и невинны все,
И все они — примадонны.

Вся каторга рампы — вокруг юных глаз.
Но занавес падает, гром гремит,
В надушенный шелк окунулся стан,
И кто-то целует руки.

От гения, грима, гримас, грошей —
В кабак, на расправу, на страстный смотр!
И возглас в четвертом часу утра,
С закинутым лбом: — любите!

6 февраля 1918 г.

Страстный стон, смертный стон,
А над стонами — сон.
Всем престолам — престол,
Всем законам — закон.

Где пустырь — поле ржи,
Реки с синей водой...
Только веки смежи,
Человек молодой!

В жилах мед. Кто идет?
Это — он, это — сон —
Он уймет, он отрет —
Страстный пот, смертный пот.

11 апреля 1918 г.

Ходит он со своим серпом,
Ходит смерть со своей косой —
Царь с царицей, брат с сестрой.

—Ходи в сени, ходи в рай
— Ходи в дедушкин сарай!

Шли реки по рекам синим,
Шли мы по пустыням,
— Странники — к святыням.

— Мы тебя не примем!
— Мы тебя не при-мем!

— Я Христова сирота,
Растворяю ворота
Ключиком-замочком,
Шелковым платочком.

— И до вас доплелась.
— Проходи! — Бог подаст!

— Дом мой — немалый.
Мед мой — хваленый,
Розан мой — алый,
Виноград — зеленый . . .

Хлеба-то! Хлеба!
Дров полон сад!
Глянь-ка на небо —
Птички летят!

12 апреля 1918 г.

Змея оправдана звездой
Застеночная низость — небом.
Топь — водопадом, камень — хлебом
Чернь — Марсельезой, царь — бедой.
Стан несгибавшийся — горбом
Могильным — горб могильный — розой . . .

26 апреля 1918 г.

С вербочкою светлошерстой —
Светлошерстая сама —
Меряю Господни версты
И господские дома.

Вербочка! Небесный житель!
— Вместе в небо! — Погоди! —
Так и в землю положите,
С вербочкою на груди.

Вербное воскресенье 1918 г.

Пахнет ладаном воздух.
Из зияющих пастей домов —
Громовыми руладами рвется рояль,
Разрывая июньскую ночь. . . . . .

Героическим громом бетховенских бурь
Город мстит.

**
*

Дороги хлебушек и мука!
Кушаем дырку от кренделька.
Да, на дороге теперь большой
С коробом — страшно, страшно — с душой!
Тыщи — в кубышку, товар — в камыш . . .
Ну, а души-то не утаишь!

24 мая 1918 г.

**
*

Осторожный троекратный стук:
Нежный недруг, ненадежный друг,
Не обманешь? То не странник путь
Свой кончает. — Так стучатся в грудь —
За любовь. Так, потупив взгляд,
В светлый рай стучится черный ад.

24 мая 1918 г.

Я — есмь. Ты будешь. Между нами — бездна.
Я пью. Ты жаждешь. Сговориться — тщетно.
Нас десять лет, как сто тысячелетий
Разъединяют. — Бог мостов не строит.

Будь! — это заповедь моя. Дай — мимо
Пройти, дыханьем не нарушив роста.
Я есмь. Ты — будешь. Через десять весен
Ты скажешь: — есмь! а я скажу: — когда-то . . .

24 мая 1918 г.

Наградил меня Господь
Сердцем светлым и железным,
Даром певчим, даром слезным.

Оградил меня Господь
Белым знаменем.
Обошел меня Господь
Плотским пламенем.

Выше знамя!
Бог над нами!
Тяжче камня —
Плотский камень!

Май 1918 г.

Хочешь знать мое богачество?
Скакуну на свете — скачется,
Мертвым — спится, птицам — свищется.

Юным — рыщется да ищется,
Неразумным бабам — плачется.
— Слезный дар — мое богачество!

Май 1918 г.

Свинцовый полдень деревенский
Гром отступающих полков.
Надменно-нежный и не женский
Блаженный голос с облаков:

«Вперед на огневые муки!»
В ручьях овечьего руна
Я к небу воздеваю руки —
Как — древле — девушка одна . . .

Июль 1918 г.

ПАМЯТИ БЕРАНЖЕ

Дурная мать! — Моя дурная слава
Растет и расцветает с каждым днем.
То на пирушку заведет лукавый,
То первенца забуду за пером . . .

Завидую императрицам моды
И маленькой танцовщице в трико,
Гляжу над люлькой, как уходят годы,
Не видя, как уходит — молоко.

И кто из вас, ханжи, во время оно
Не пировал, забыв о платеже!
Клянусь бутылкой моего патрона
И вашего когда-то — Беранже!

Но одному — сквозь бури и забавы —
Я, несмотря на ветренность, верна.
Не ошибись, моя дурная слава!
— Дурная мать, но верная жена!

23 июля 1918 г.

Пусть не помнят юные
О согбенной старости,
Пусть не помнят старые
О блаженной юности.

Все уносят волны.
Море — не твое.
На людские головы
Лейся, забытье.

Пешеход морщинистый,
Не любуйся парусом!
Ах, не надо юностью
Любоваться — старости!

Кто в песок, кто — в школу
Каждому свое.
На людские головы
Лейся, забытье.

Не учись у старости,
Юность златорунная!
Старость — дело темное,
Темное, безумное.

. . . На людские головы
Лейся, забытье!

27 июля 1918 г.

Ночь преступница и монашка.
Ночь проходит, потупив взгляд.
Дышит — часто и дышит — тяжко.
Ночь не любит, когда глядят.

Не стоит со свечой во храме,
Никому не жена, не дочь.
Ночь ночует на твердом камне,
Никого не целует ночь.

Даром, что сквозь
Слезинки — свищем,
Даром, что — врозь
По свету рыщем, —

Нет, не помочь!
Завтра ль, сегодня —
Скрутит нас
Старая сводня — Ночь!

27 июля 1918 г.

Не по нраву я тебе — и тебе
И тебе еще — и целой орде.
Пышен голос мой — да мало одеж!
Вышла голосом — да нрав нехорош!
Полно, Дева-Царь! Себя — не мытарь!
Псарь не жалует — пожалует царь!

1 августа 1918 г.

ГЕНИЮ

Крестили нас в одном чану,
Венчали нас одним венцом,
Томили нас — в одном плену,
Клеймили нас — одним клеймом.

Поставят нам — единый дом.
Прикроют нас — одним холмом.

5 августа 1918 г.

А потом поили медом,
А потом поили брагой,
Чтоб потом, на месте лобном,
На коленках признавалась
В несодеянных злодействах!

Опостылели мне вина,
Опостылели мне яства.
От великого богатства
Заступи, заступник — заступ!

5 августа 1918 г.

Там, где мед — там и жалко,
Там, где смерть — там и смелость.
Как встречалось — не знала,
А уж так: встрелось — спелось.

В поле дуб великий, —
Разом рухнул главою!
Так, без женского крика
И без бабьего вою —

Разлучилась с тобою:
Разлучилась с собою,
Разлучилась с судьбою.

13 августа 1918 г.

Безупречен и горд
В небо поднятый лоб.
Непонятен мне герб,
И не страшен мне горб.

Меж вельмож и рабов,
Меж горбов и гербов,
Землю роющих лбов —
Я — из рода дубов.

13 августа 1918 г.

Ты мне чужой и не чужой,
Родной и не родной, —
Мой и не мой! Идя к тебе
Домой — я «в гости» не скажу,
И не скажу домой.

Любовь — как огненная пещь:
А все ж и кольцо — большая вещь,
А все ж и алтарь — великий свет.
— Бог — не благословил!

13 августа 1918 г.

Проще и проще
Пишется, дышится.
Зорче и зорче
Видится, слышится.

Меньше и меньше
Помнится, любится.
— Значит уж скоро
Песок и рубище.

18 августа 1918 г.

Офицер гуляет с саблей,
А студент гуляет с книжкой.
Служим каждому мальчишке:
Наше дело — бабье, рабье.

Сад цветочками засажен —
Сапожищами зашибли.
Что увидели — не скажем:
Наше дело — бабье, рыбье.

27 августа 1918 г.

Поступь легкая моя,
— Чистой совести примета —
Поступь легкая моя,
Песня звонкая моя —

Бог меня одну поставил
Посреди большого света.
— Ты не женщина, а птица,
Посему — летай и пой.

19 октября 1918 г.

Красный бант в волосах!
Красный бант в волосах!
А мой друг дорогой —
Часовой на часах.

Он под ветром холодным,
Под холодной луной,
У палатки походной —
Что столб соляной.

Подкрадусь к нему тихо —
Зычно крикнет: — «Пароль!»
— Это я! — Проходи-ка,
Здесь спит мой Король!

— Это я, мое сердце,
Это сердце твое!
— Здесь для шуток не место,
Я возьму под ружье.

— Не проспать бы обедни
Твоему Королю!
— В третий раз — и в последний:
Проходи, говорю!

Грянет выстрел. На вереск
Упаду — хоть бы звук.
Поглядит он на Север,
Поглядит он на Юг,

На Восток и на Запад.
— Не зевай на часах! —
Красный бант в волосах!
Красный бант в волосах!

28 октября 1918 г.

Бог! — Я живу! — Бог! — Значит ты не умер!
Бог, мы союзники с тобой!
Но ты старик угрюмый,
А я — герольд с трубой.

Бог! Можешь спать в своей ночной лазури!
Доколе я среди живых —
Твой дом стоит! — Я лбом встречаю бурю,
Я барабанщик войск твоих.

Я твой горнист. — Сигнал вечерний
И зорю раннюю трублю.
Бог! — Я любовью не дочерней, —
Сыновне я тебя люблю.

Смотри: кустом неопалимым
Горит походный мой шатер.
Не поменяюсь с серафимом:
Я твой Господен волонтер.

Дай срок: взыграет Царь-Девица
По всем по селам! — А дотоль —
Пусть для других — чердачная певица
И старый карточный король!

[Без даты, ранее 1920 г.]

ПЕТРОВ КОНЬ РОНЯЕТ ПОДКОВУ

(Отрывок)

И, дрожа от страстной спеси,
В небо вознесла ладонь
Раскаленный полумесяц,
Что посеял медный конь.

С. Б. АЛЕКСЕЕВУ

Править тройкой и гитарой
Это значит каждой бабой
Править. Это значит старой
Брагой по башкам кружить.
Раскрасавец, полукровка!
Кто крестил? В какой купели?
Все цыганские метели
Оттопырили поддевку
Вашу, славный гитарист!

Да боюсь, уложат в лежку
Ваши струны, да ухабы,
Бог с тобой, ямщик Сережка!
Мы с Россией — тоже бабы!

(1917?)

Ночи без любимого — и ночи
С нелюбимым, и большие звезды
Над горячей головой, и руки
Простирающиеся к Тому —
Кто от века не был — и не будет,
Кто не может быть — и должен быть . . .
И слеза ребенка по герою,
И слеза героя по ребенку,
И большие каменные горы
На груди того, кто должен — вниз . . .

Знаю все, что было, все, что будет,
Знаю всю глухонемую тайну
Что на темном, на косноязычном
Языке людском зовется — жизнь.

1917 г. (?)

И зажег, голубчик, спичку.
— Куды, матушка, дымок?
— В двери, родный, прямо в двери, —
Помирать тебе, сынок!

Мне гулять еще охота.
Неохота помирать.
Хоть бы кто за меня помер!
... Только до ночи и пожил.

11 июня 1917 г.

(Рассказ владимирской няни Нади.)

Ну вот и покончена метка,
Прощай, мой веселый поэт!
Тебе приглянулась — соседка,
А мне приглянулся — сосед.

Забита свинцовою крышкой
Любовь — и свободны рабы.
А помнишь: под мышкою — книжки,
А помнишь: в корзинке — бобы...

Пожалуйте все на поминки,
Кто помнит, как на десять лет
Клялась: кружевная косынка
И сей апельсинный жилет...

(Не окончено) 1917 г.

Бел, как мука, которую мелет,
Черн, как сажа, которую чистит, —
Будет от Бога похвальный лист
Мельнику и трубочисту.

Нам же, рабам твоим непокорным,
Нам, нерадивым: мельникам черным,
Нам, трубочистам белым — увы! —
Страшные — судные дни твои;

Черным по белому день твой черный
Будем стоять на доске позорной.

Сентябрь 1917 г.

[Черновик.]

Ветер звонок, ветер нищ
Пахнет розами с кладбищ.
, ребенок, рыцарь, хлыщ.

Пастор с книгою святою, —
Всяк с красотою
Над беспутной сиротою.

Только ты, мой блудный брат,
Ото рта отводишь яд.

В беззаботный, скалозубый
Разговор — и ворот шубы
Прячешь розовые губы.

13 января 1918 г.

Только в очи мне взглянул и без остатка,
Только голос мой до капли вознесен —
Как на горло ком — железная перчатка
Опускается — по имени — закон
Слезы в очи загоняет, воды
В берега, проклятие — в уста.
И стремит железная свобода
Вольнодумца с первого моста.
И на грудь, где наши рокоты и стоны
Опускается железное крыло.
Только в обруче огромного закона
Мне просторно — мне спокойно —

мне светло.

ЗЕМНОЕ ИМЯ

Стакан воды во время жажды жгучей:
— Дай или я умру!
Настойчиво, расслабленно-певуче
Как жалоба в жару —
Все повторяю я, и все жесточе,
— Снова, опять —
Как в темноте, когда так страшно хочешь
Спать — и не можешь спать.
Как будто мало по лугам снотворной
Травы от всяческих тревог!
Настойчиво, бессмысленно-повторно —
Как детства первый слог...
Так с каждым мигом все непоправимей
К горлу — ремнем...
И если здесь всего земное имя —
Дело не в нем...

И эту честь последнюю поправ,
Пренише ног твоих, пренише трав,
Твоей рукой к позорному столбу
Пригвождена — березкой на лугу —

Сей столб встает мне, и не рокот толп —
То голуби воркуют утром рано . . .
И все уже отдав, сей черный столб
Я не отдам — за красный нимб Руана!

3.

Ты этого хотел. — Так — Аллилуя.
Я руку, бьющую меня, целую.
В грудь оттолкнувшую — к груди тяну,
Чтоб, удивясь, прослушал тишину,
И чтоб потом, с улыбкой равнодушной:
— Мое дитя становится послушным.

Не первый день, а многие века,
Уже тяну тебя к груди, рука
Монашеская — хладная до жара!
Рука — о Элоиза! — Абеляра.
В гром кафедральный — дабы на
смерть бить —
Ты белой молнией взлетевший бич!

ПРИГВОЖДЕНА

1.

Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеею в сердце и с клеймом на лбу,
Я утверждаю, что — невинна.

Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем,
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою — за счастьем.

Пересмотрите все мое добро,
Скажите — или я ослепла?
— Где золото мое? Где серебро?
В моей ладони — горстка пепла!

И это все, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это все, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.

19 мая 1920 г.

2.

Пригвождена к позорному столбу,
Я все ж скажу, что я тебя люблю.

Что ни одна до самых недр — мать
Так на ребенка своего не взглянет.
Что за тебя, который делом занят,
Не умереть хочу, а умирать.

Ты не поймешь — малы мои слова!
Как мало мне позорного столба!

Что если б знамя мне доверил полк,
И вдруг бы ты предстал перед глазами —
С другим в руке — окаменев как столб,
Моя рука бы выпустила знамя.

АЗРАИЛ

От руки моей не взыгрывал,
На груди моей не всплакивал...
Непреложней и незыблемей
Опрокинутого факела:
Над душой моей в изглавии,
Над страдой моей в изножии
(От руки моей не вздрагивал, —
Не твоей рукой низложена)
Азраил! В ногах без месяца
И без звезд дороги скошены.
В этот час тяжело весящий
Я тебе не буду ношею...
Азраил? В ногах без выхода
И без звезд: личины сорваны!
В этот час тяжело-дышащий
Я тебе не буду прорвою...
А потом перстом как факелом
Напиши в рассветных серостях
О жене, что назвала тебя
Азраилом вместо — Эроса.

ВОНЕМЕ

Помнишь плащ голубой,
Фонари и лужи?
Как играли с тобой
Мы в жену и мужа.

Мой первый браслет,
Мой белый корсет,
Твой малиновый жилет,
Наш клетчатый плед?!

Ты, по воле судьбы,
Все писал сонеты.
Я варила бобы
Юному поэту.

Как над картою вин
Мы на пальцы дули,
Как в дымящий камин
Полетели стулья.

Помнишь — шкаф под орех?
Холод был отчаянный!
Мой страх, твой смех,
Гнев домохозяина.

Как стучал нам сосед,
Флейтою разбужен...
Поцелуи — в обед,
И стихи — на ужин...

Мой первый браслет,
Мой белый корсет,
Твой малиновый жилет —
Наш клетчатый плед...

27 июля 1917 г.

Каменный Ангел

Пьеса

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ангел — настоящий, германский, грустный.

Амур — охотник — красавец — mauvais sujet — француз по духу — 18 лет.

Венера (она же мать Вероника) — во 2-й карт. старая колдунья, в 4-й — торжественная настоятельница, в 6-й — почтенная сводня.

Аврора — невинное дитя, две белокурых косы.

Вдова
Служанка
Богатая невеста
Монашка
Веселая девица
Торговка яблоками
} настоящие, как Бог велел

Герцогиня — красавица, 20 лет.

Богоматерь — в звездном плаще.

КАМЕННЫЙ АНГЕЛ

Пьеса в 6-ти картинах, в стихах

— Сонечке Голлидей —
Женщине—Актрисе—Цветку—Героине

Оттого и плачу много!
Оттого —
Что взлюбила больше Бога
Милых ангелов Его.

М. Ц.

Картина первая

КОЛОДЕЦ СВ. АНГЕЛА

(Германия XVI в. Прирейнский городок. Круглая площадка. Посередине колодец со статуей св. Ангела. — Вечерняя заря. — Колокола. — К колодцу подходит 30-летняя вдова из простых, в черном, опускается на колени.)

Вдова

Ангел небесный! Священный страж
Города нашего!
Вот уже год, как скончался мой бедный муж,
— Бог упокой страдальца! —
А детей у меня — шесть душ!
Ангел, ангел святой, сжалься!
Не могу я — руки — сидеть — сложа, —
Я не знатная госпожа!

Только знатным можно — горячий лоб
О часовенный пол студить.
Только знатным можно — за милым в гроб
Я — швея и мне надо шить.

Чем за платье сесть — на погост иду.
Ох, дурная любовь указчица!
Каково, пресветлый, в таком году
Третью — счетом — терять заказчицу?

Чуть глаза закрою — всё он, всё он, —
И не помнишь, чем руки заняты!
Ниспошли мне, ангел, душевный сон,
Исцели от любовной памяти!

(Снимает с руки два обручальных кольца.)

Два кольца бросаю в дар:
Мужнее и вдовие.
Исцели любовный дар
Чистою водою.

Чтобы мне, восстав из мглы
Сновидений томных,
Кроме нитки да иглы —
Ничего не помнить!

(Бросает кольца. Зачерпывает ковшом воды. Пьет. Крестится. Уходит.)

(Вдове на смену — 16-летняя служанка, хорошенькая, румяная, заплаканная, в настоящем Bauerntracht того века.)

Служанка

Мой век — горшки да утюги,
Кастрюли да лоханки.
Пресветлый ангел, помоги:
Я — бедная служанка!

Я всем и каждому — раба,
Весь день душа трясется.
Простой служанке — не судьба
Прекрасный сын господский!

Лишь смерть одна равняет лбы.
Любовь — дурная сваха!
Ах, у меня равно — грубы
И руки, и рубаха.

Страшнее всех загробных зол —
Когда сверкнут под дубом
Его лазоревый камзол —
И розовые губы.

Он мне колечко дал — сапфир —
Тайком от графских дочек.
— «Ты мне дороже всех графинь,
Мой полевой цветочек!»

Пресветлый ангел, остуди
Мне грудь водою райской, —
Чтоб умер у меня в груди
Прекрасный сын хозяйский!

(Бросает колечко. Зачерпывает ковшом воды. Пьет. Плачет. Уходит. — Ей на смену — раззолоченная, дородная, похожая на огромную куклу и на колокол — богатая невеста.)

Богатая невеста

Я — богатая невеста:
Жемчуга, луга.
Мне повсюду честь и место,
Мне весь свет — слуга.

Белый голубь в клетке бился,
Цвел у липы — лист.
Ах, на горе полюбился
Мне бедняк — флейтист.

Брызжут слёзы, как из лейки
На худой жакет.
Ничего-то, кроме флейты
За душою нет.

Каково по всем трущобам
В флейту дуть — три дня, —
Чтобы перстеньком грошовым
Одарить меня?

Сам бурмистр за свахой сваху
Шлет и шлет к отцу.
Знаю, знаю, что — не сахар
С голышом к венцу!

Остуди мой разум чистой
Ключевой водой,
Чтобы вытеснил флейтиста —
Бургомистр седой.

(Бросает кольцо. Зачерпывает ковшом воды. Пьет. Крестится — юбка вокруг как золотой огромный колокол. — Уходит. Ей на смену молодая — как восковая святая — монашка.)

Монашка *(опускаясь на колени)*

Прохожу, опустив глаза.
Мне любить никого нельзя.
А ресницы длинны,
— Говорят, что они, как стрелы! —
Но в том нету моей вины:
Это Бог их такими сделал!

Я ресницами не хвалюсь.
Всё молюсь, всё молюсь, молюсь.

Ангел праведный! Ум мой прост.
Но сегодня, в исповедальне,
Он сказал мне: — «Мрачна, как пост!
Бог не любит, когда печальны.
Можно душу спасать, шутя...
— Подыми-ка глаза, дитя!»

Божий ангел! Возьми венец
Он нетронут и свеж покамест.
Оттого — что колечка — нет
У меня от него на память!

(Бросает венок. Зачерпывает ковшом воды. Пьет. Уходит. Ей на смену — завернутая в большой черный платок — веселая девица. Накрашена по брови. Худа. Стройна. Благородна.)

Веселая девица *(целуя землю)*

Пресветлый ангел! Я твоя раба.
Пресветлый ангел, речь моя груба,
Румянец груб, и голос груб и смех.
Но ты ведь ангел, — и вода для всех...

Как в воду канул: плакала, звала...
Я только ночку с ним одну спала!

Пресветлый ангел, ты меня прости:
Три дюжины колец в моей горсти.
Христа продам, отца и мать продам, —
Но я его колечка не отдам!

И черт с твоей водой, — какой в ней толк!
Какой ты ангел, — каменный ты столб!

(Швыряет кольца ему в голову — от движения платок падает — открывая прекрасное глубоко-вырезанное платье. Плюет в колодец, уходит, уходя, поет:)

Я — веселая девица,
Если ж часто плачу —
Как воде не литься,
Рекам не струбиться!

Я не мастер, не художник, —
Если ж губы крашу, —
Знать краса моя природная
Вся как есть сцелована!

Я у матушки в утробе
Песни пела, билась,
Чтоб на волю отпустили.
Родилась — влюби-лась.

(Последние слова за сценой)

(Ей на смену — торговка яблоками, через руку большая корзина с яблоками — сама как прошлогоднее залежалое яблоко.)

Яблоки! Яблоки!
Ру-мяные яблоки!
Был у старой яблони
Сын, румяный яблочек.
Праздник воскресный,
Андел небесный.

Я его волосиков
Кольцо — в воду бросила.
Из тваво колодца я
Напилася допьяну.

И никак не вспомню,
Старая я дура,
Какой был он: темный —
Али белокурый...

Люди были заняты,
Мое дело кончено.
Возврати для памяти
Волос его кольчико.

Чтоб предстал хоть в сне туманном
Мне мой ангелочек!
— Кому яблочек румяных,
Кому яблочек!

(Вставая с колен, опрокидывает всю корзину — частью в колодец, частью на камень площади. Подбирает уцелевшие яблоки все до одного — плачет — уходит.)

(Некоторое время площадь пуста. Потом — издалека — звонкий, легкий, счастливый шаг. — Аврора. — 18 лет. Белокурая коса. — Лицо затмевает одежду, глаза — лицо.)

Аврора *(восторженно закинув голову)*

Здравствуй, ангел.
Это — я.
Как дела?
Много — из низу — ковшей?
Вниз — колец?

Я к тебе не за водой,
Не с бедой.
Доброй ночи пожелать
Я пришла.

(Вскакивает на край колодца, — ангел — огромный, она — маленькая — становится на цыпочки, обвивает ангела за шею руками, целует, куда достают губы.)

Доброй ночи пожелать
И сказать,
Что сегодня, на вечерней заре,
От дверей моих ни с чем поплелся
Восемнадцатый — по счету — жених!

(Смеется)

Знатный! — В перьях до земли! — Здесь — звезда.
Гость из Франции — к курфюрсту. В слезах
Он колени преклонил. Я ж, смеясь,
Уверяла, что жених мой — знатней.

(Откинувшись назад — руки у ангела на плечах — глядит на ангела.)

— Так же скромен, так же слеп,
Так же глух.
Что ж не скажешь мне, жених,
Что мне рад?

Целый год уж трубит
— Тру — ту — ту! —
Что невеста я тебе —
В небесах!

Весь колодец осушу —
Не забыть!
А колечко если брошу —
Всплывет!

От того что я тебя
Одного
До скончания вселенной —
Люблю.

(Прячется ему под крыло. Потом, снимая с руки кольцо:)

Вот на руку тебе колечко,
Серебряное, как слеза.
Когда колечко почернеет —
Ко мне на выручку спеши.

Лети, пока не сломишь крыльев,
А сломишь — так иди пешком.
А если ж мертвою застанешь,
Знай, я была тебе верна.

(Надевает ему на руку кольцо, целует руку.)

Картина второая

Мрачная лачуга. На черноте стен и лохмотьев красный блеск очага. На полу — в виде смрадной старой бородатой колдуньи — над чугуном — Венера. Полночь. Ветер.

Венера

Нечего сказать! Хороши времена!
Каждая дура — мужу верна.
Я ль не колдую, я ль не варю, —
Каждая девка прет к алтарю.

Городом правит
Плут с дураком
Ангел наш в паре
С чертом попом.

Чуть с молодцом
Скрутишь девицу —
Выпьет водицы, —
Дело с концом.

Та — в монастырь, та — законным браком, —
Ну тебя, чертова жизнь, — к собакам!

Эх, уж давно б легла под снег,
Каб не Венерин мой вечный век!

(Мешает в чугуне, бормочет.)

Варю — варю зелье
Женкам на веселье,
Юнцам — по заказу,
А мужьям — на слёзы.

Чтоб горою — брюхо
Стало у монашки,
Чтоб во сне старуха
Вдруг вздохнула тяжко,

Чтоб к обедне ранней
Шли Чума с Холерой, —
Чтобы помнил Ангел
Старую Венеру!

Так-то, мой цветик
Райских долин!

(Сильный удар в ставню)

— Кто это — Ветер?

А м у р, впрыгивая в окно
— Нет, Ваш ветренный сын!

(Амуру 18 лет.. Золотые кудри. Одет, как охотник. Лук и стрелы. Очарование mauvais sujet и красавчик. Несмотря на белокурость — всем — каждым движением — француз. В настоящую минуту он как женщина, которую не пустили на бал, и как ребенок, которому не дали конфет.)

В е н е р а *(приваливая к огню ком лохмотьев)*

Здравствуй, сыночек, садись, будь гостем.
Горд, как петух. *
А м у р *(выворачивая карманы)*
Проигрался в кости —
В пух.

---

* Зол, как индюк. (Вариант.)

Венера

А с охотой как дела?

Амур

Тоже ни к черту, — одна стрела.
Все поистратил: не жалят, гнутся...

Венера

Будет тебе, голубчик, дуться.
Новые завтра закажем.

Амур

Вы,
Матушка, нынче умней совы
В полдень. — «Закажем!» — У черта в пасти! —
Помер на прошлой неделе мастер
Конрад — и «тайну» с землею съел.

(дразнится:)

Чудная пара! — Амур без стрел
И — без зубов — с бородой — Венера!

Доброго здравья!

Венера *(удерживая его)*
Куда?

Амур
В пещеру,
Скрыть от людей свой несносный стыд.

(Как взрыв:)

Чертово дело: стрела свистит...
Девки, как мышки сидят в хоромах...

Венера

Ну-ка?

Амур

Тринадцатый кряду промах!
— Вот и стреляй в нее! *

Венера

Кто же она?

Амур

— Дура! — В посмешище влюблена,
В мертвую куклу. — Глаза в тумане. —
Только и слышно, что: ангел, ангел!

Венера

Каменный ангел?

Амур

Ну, да. — Кольцо
Нынче одела ему. — Крыльцо
Ломится под женихами, — где там!
То нездоровится, то раздета,
То за молитвою... — Стыд и смех! —
Ангел ей нужен, — и к черту всех.
Ангел ей нужен — и к черту всех!

---

* — Вот и усни теперь! (Вариант.)

(Вскипая:)

К черту — по шее — меня — Амура!

Венера

Не горячись, голубок. Аллюры
Эти в часочек исчезнут.

Амур

Как?

Венера *(притягивая Амура рядом с собой, на кучу лохмотьев)*

Каменный ангел — мой лютый враг.
Милостию этой дурацкой куклы
Очи с кулак у меня распухли,
И отощали карманы — с блин.

(Постепенно приходя в ярость:)

Ты погляди-ка: с холмов, с долин,
Денно и нощно, — пешком, — в портшэзах,
В смрадных лохмотьях — в алмазах звездных —
С четками — харю раскрасив — смесь:
Девок,** монахинь, служанок — весь
Женский народ неразумный этот:
Матери — вдовы — ханжи — в каретах —
Цугом — верхами — ползком — толпой —
К каменной кукле на водопой!
— «Дай позабыть его кудри, очи!»
— «Дай позабыть, как в былые ночи
Мы с ним под липой сидели» . . . — «Дай
Мне позабыть этот рай и май!»

** Знатных, ... (Вариант,)

— «Дай позабыть как в стальных доспехах
Мимо окна моего проехал!»
— «Как причащал меня в Пасху!» — «Как
В розовом капоре, на руках,
В храм его Божий носила» . . . — «Песню
Дай позабыть» . . . — И в колодец — перстни
Градом! — Мозоли — с кулак — на лбах.
Я же, сыночек мой . . .

Амур *(хладнокровно)*

На бобах, —
Ясно.

Венера *(хмыкая)*

Поганый мой век старуший!
Что наколдую, то он разрушит!
Варишь, мешаешь, — напрасный труд!
Где там! — И даром уж не берут.

Амур *(над чугуном)*

Память любовная?

Венера

Да, поди ты!
Чисто: ни спросу, сынок, ни сбыту.
А вспомяну-ка, в былые дни . . .

Амур

Ладно. Достаточно болтовни.
— Матушка, мне, чтоб не слег в горячке
Нужно одно: окружить гордячку, —
Разом, чтоб солнышко за рекой
Сесть не успело . . .

Венера *(отвратительно оживляясь)*

Влюблен?

Амур

Какой!

Крепкой стройкой гордится плотник,
Полной сумой за плечом — охотник.
Сумка как блин за плечом — жалка.
— Просто затронута честь стрелка.
Как от стены отлетают стрелы!

Венера

Поговорили, сынок, за дело.

(Вытаскивает из груды лохмотьев монашескую рясу)

— Что это?

Амур

Для черта — саван.

Венера

Нет, монашеская ряса.
— Это? —

(Раскачивает перед ним четки)

Амур

Их перебирают
Девки, обо мне мечтая.

Венера

Четки.

(Показывает крест.)

Амур

А такой жидюге
Под заклад снесла на Пасху
Эта — как ее? — Кристина,
Чтобы было в чем под липой
Танцевать со мной...

Венера

Крестильный
Крест.

Амур

Припомнил.

Венера

Это?

(Подает ему сандалии)

Амур

Это
На ногах носил Меркурий..
— Почему без крыльев?

Венера

Крылья,
Милый, сношены. Остались
Лишь деревянные подошвы
С ремешками. В облаченьи
Сем торжественном предстанешь

Ей в ночи и скажешь: «Ангел
Я твой каменный — и было
Мне веленье, чтоб немедля
Я любви твоей великой
Ради в монастырь священный
— Женихом на пир венчальный —
Проводил тебя, невеста.

(Хихикает:)

Монастырь — мой замок. Я же
Настоятельницей черной
Встречу белую овечку.
Понял?

Амур

— Матушка! — Богиня!

Венера

Поучтивей с ней дорогой
Будь: про смерть тверди, про звезды,
Про невинные забавы
Праведников в кущах райских.
Да за девственность — корону
Не забудь!

Амур

А целоваться?

Венера *(строго)*

В лоб — и то лишь раз.

Амур

А в губки?

Венера

Нет.

Амур

А в шейку?

Венера

Фу, бесстыдник!

Успокойся: что дорогой
С ней пропустишь, — той же ночью
Наверстаешь в нашем замке.
А теперь иди. — Покончить
Надо с варевом мне этим,
Где из роз, огня и крови
Пойло варится любовной
Пытки — памяти любовной.

Гостью потчевать при входе
В нашу скромную обитель.
Доброй ночи!

Амур

А червонец,
Чтоб за кружкою рейнвейна
Встретить солнце?

Венера *(вынимая из чулка золотой)*

На, проказник.

Амур *(вкрадчиво)*

А другой, чтоб отыграться?

Венера *(вынимая второй)*

Вот он.

Амур

Матушка, а третий,
Пресвятыя Тройцы ради,
Раз теперь я стал монахом?

Венера *(давая ему третий)*

На — и с глаз долой!

Амур

На славу

Угостим теперь малюток:
Кэтхен, Гретхен и Амальхен.
Пресвятыя Тройцы ради! —
До свиданья!

(Выпрыгивает в окно)

Венера

Завтра в полночь —

Помни!

Голос Амура

Коль не отъедят мне свиньи

Головы с ногами!

Венера

Дурень!
Ветрогон! — Болтун! — Красавчик!

(Наклоняется над чугуном, бормочет:)

Дрожит и кружится
Земля под пятами.
Любовная пытка,
Любовная память.

Кровавые распри
И страстные слёзы.
— Кровь, пламя и розы,
Кровь, пламя и розы.

(ЗАНАВЕС.)

Картина третья

ОБОЛЬЩЕНИЕ

Blonde enfant qui deviendra femme
Pauvre ange qui perdra son ciel!
(Lamartine)

(Девическая комната в зажиточном доме XVI в. в Германии. Дубовые скамьи. Распятие. Статуя Богоматери с цветами. Прялка. Аврора сидит на низенькой скамеечке. Перед ней старый торгаш-еврей.)

Еврей

А что вы скажете на этот жемчуг?
Скажу вам *: он жиду
Достался из высоких рук, — сказал бы
Из чьих, да вы, красавицы, болтать

---

* Пропущено в рукописи М. Цветаевой.

Привыкли язычком — как бы болтаться,
Высунувши язык, не привелось
За это бедному жидку...

Аврора (*на жемчуг*):

Прекрасен,

Но, говорят, к слезам.

Еврей

Ой-ой-ой-ой!..

Старушьи россказни, чтобы красоткам
Красотками не быть! — А за один
За этот крест — взгляните на чеканку! —
Я — не был бы жидом — не пожалел
Бы вечного блаженства...

Аврора

Как-то странно

Мне четки из твоих...

Еврей

Жидовских рук?
А раз ** перл уже не перл, раз в куче
Навозной — найден? Разве крест — не крест?
И золото — не золото? — И мало
Святой воды, *** что ли, чтоб освятить?
Не думайте, не думайте, красотка!

** Так в рукописи.
*** «У вас, церквей, ...» (Вариант.)

От долгих дум таких еще никто
Не хорошел — и все дурнеют. Жемчуг —
Красотке, счет — папаше. Так?

Аврора

К слезам.

Ну пусть к слезам!

Еврей

Вот это, внучка, дело
Сказали. Раз у девушки жених
Имеется — наверное уж сотню
— За слезку — поцелуев даст.

Аврора

Меня

Жених мой не целует.

Еврей

Это значит,
Что счастлив будет ваш супруг.

Аврора *(не слушая)*

Еврей,
Ты стар, ты можешь мне ответить? . .

Еврей

Можно, —
На все вопросы есть ответы . . . Книга
Такая есть у нас — Талмуд . . .

Аврора *(не слушая)*

Еврей,

Плоть — может камнем стать, а камень — плотью?

Еврей

Ой, девушка, зачем такая мысль
В хорошенькой головке? — Слишком мудрой
Женщине быть нельзя, — разлюбит муж.
Женщине надо шить, и малых деток
Растить, и мужа услаждать...

Аврора *(не слушая)*

Еврей!

Ты стар и мудр, вы все мудры и стары,
Как мир, скажи мне старый:

?*

Еврей

Ой, что за речи!

Аврора

Может

Да или нет, седая борода,
Стать камень каменный — горячей плотью?

Амур *(входя)*

— Да! —

Еврей

Ой-ой-ой-ой! Ваше преосвященство!
Не загубите бедного жидка!
Клянусь вам честью, провались на месте

---

* Пропущено в рукописи М. Цветаевой.

Я в чан крестильный, если я лишь миг
Здесь занимался куплей и продажей!

Амур

А этот жемчуг?

Еврей

Так, ничтожный дар,
От нищеты — богатству, пса — владыке...

(Глядя на Аврору:)

— Взглянул на розу — червь.

Амур *(беря счет)*

А этот лист?

Еврей

Ваше преосвященство!

Амур

Ладно, с Богом,

Ступай!

Еврей

А счетик?

Амур *(сжигая)*

Как огонь свечи
Его пожрал, смотри, старик, чтоб также
Не * тебя огонь костра
Святейшей Инквизиции.

---

* Пропущено в рукописи М. Цветаевой.

Еврей

Ой, горе!

Ой, горе мне!

/

Амур *(Авроре)*

Невеста, я пришел.

Аврора

Ангел!

Амур

Аврора!

Аврора

Каменный мой ангел!
Так значит ты не камень! Значит ты
Не слеп, не глух, и говорить умеешь,
И ходишь по земле... Постой, одна
Сандалия как будто развязалась.
Дай, завяжу...

(Становится на одно колено)

О, как ты запылен!

Ты голоден, устал?

Амур

Нет, нет, пустое.

Вот пить — хочу.

Аврора

Ах, ангел, на беду
Нет у меня святой воды!

Амур

Прискорбно.
Ну что ж, давай вина.

(Фыркает:)

— Святой воды!
— Побольше и покрепче! На дорогу
Нам нужно силы подкрепить . . .

Аврора *(выбегая)*

Сейчас!
Единым духом!

Амур

Чудная девчонка!
Прекрасная девчонка! — И какой
Огонь в глазах! — А волосы! — А зубки!

(Напевает:)

Залетел в святую спаленку
Ангелок к девчонке маленькой.
— Традеди — деди — дери . . .

Прековарный ангелочек!
Ангелок тот был — стрелочек . . .
Традеди — деди — дери . . .

Целит в бледных и в румяных,
Целит в знатных и в служанок . . .
Традеди — деди — дери . . .

Стрелы свищут, стрелы жалят,
Непокорных навзничь валят,
— Традеди — деди — дери...

Да, ни одна со мной не поскучала

(Держа на ладони жемчуг:)

— Какой улов. — Недурно для начала!
Его потом перепродам жиду.
— Тому же самому. —

Голос Авроры

Сейчас иду!

Амур *(загребая четки)*

Скорей в карман, пока никто не смотрит!
Я думаю, с того жидюги по три
Рейхсталера заломим за зерно!

Аврора *(входя)*

Мой милый ангел, вот тебе вино.
Пей на здоровье.

Амур *(галантно)*

Цвета ваших губок.

(Пьет)

— Прекрасное вино и знатный кубок!

(Аврора наливает еще.)

— Дай поцелую рученьку твою!

Аврора (*которая села у ног его, на скамеечку*)

Мне кажется, что я уже в раю!

(Целуя его руку с серебряным, гладким, похожим на то, ангельское колечком:)

— Мое колечко!

Амур

Губки дорогие!

Аврора *(вертя на его пальце кольцо)*

А где же надпись «Иисус. Мария»?

Амур *(высокопарно)*

Сцелована ста тысячами уст!

Аврора

А как же твой колодец, Ангел?

Амур

Пуст.

— Ночь глубока, не бойся, не заметят!

Аврора

Тебя б святой молитвой должно встретить,
А я смеюсь . . .

Амур *(галантно)*

Цветок рожден, чтоб цвесть!

Аврора

За что, за что, скажи, такая честь
Мне, бедной девушке? . .

Амур *(как истый француз)*

За ваши совершенства.

Аврора *(закрыв глаза)*

Ох, всё плывет!

Амур

Вам дурно?

Аврора

От блаженства!

Амур *(восклицая)*

Давайте выпьем! Будет путь тяжел.

(Дурак! Совсем забыл, зачем пришел!)

(Встает. Сначала издеваясь, потом — искренно увлекаясь — декламирует:)

— Послушайте, Аврора! Ночь тиха.
Вложите ручку в руку жениха.
Из мира первородного греха
Я уведу вас — ввысь.

Я нынче свыше получил приказ
Похитить лучший у князей алмаз:
Вас увести в полночный черный час
В святой Господен — дом.

Дабы избавить вас от лживых дел
Змеи — Венеры и от жадных стрел
Лжеца — Амура, — дабы вечно бел
Остался лобик сей.

Амур с Венерой, отступят прочь!
Ко мне, невеста, во Христе и дочь!
О, ангельская, свадебная ночь
Вон там, на той звезде!

(Жест к окну.)

В смиренной келье доцветет спокойно
Ваш нежный век.

Аврора

Нет, нет, я не достойна!

Я грешница! Я больше голубей
Своих любила, чем чужих людей!
Над женихами я смеялась, жалость
Гнала цимбалами!..

Амур *(заглядывая ей в глаза)*

Ну, а целовалась
С красавчиками под большой луной?

Аврора

Нет, никогда, ты был всегда со мной.
И главный грех мой, нежный ангел милый, —
Что больше Бога я тебя любила!
Куда сильней, чем праведников всех!
Скажи мне, ангел, это страшный грех?

Амур *(сурово)*

Нет, это преступленье!

(В сторону:)

— На смех курам! —
— А как, скажи мне, с этим белокурым
Охотничком шальным у вас дела?

Аврора

Он мне не мил, а я ему мила.

Он очень глуп. *

Амур

Наверное

**

Аврора

Порочен,

Хвастлив.

Амур

Да, да.

Аврора

И очень скучен.

Амур

Очень.

Аврора

Не ходит в церковь.

Амур

Так.

Аврора

Плохой стрелок...

Амур *(стукая кулаком по столу, кружки звенят)*
Ложь, негодяйка!

---

* Он вечно пьян. (Вариант.)
** Без просыпу. (Вариант.)

Аврора

Правда, ангелочек!
Ты не судья. — Что это ты?

Амур *(задыхаясь)*

Одышка.

Аврора

Да что тут долго говорить: мальчишка,
Молокосос, над верхнею губой
Ни волоса еще . . .

Амур

Само собой.
— А всё ж красавчик из себя, сознайся?

Аврора

Розовый с белым, как на Пасху — яйца.
Так, . . .*

Амур

А мать его?

Аврора

Ворожея,

Воровка, сводня, — старая змея,
Клянущая свой смрадный век старуший . . .

Амур

Ты мастерски описываешь души
И лица, но не слишком ли строга?

---

* Пропущено в рукописи М. Цветаевой.

Аврора

Я просто знаю друга и врага.

Амур, наливая вино, напевает:

Кто в чертову школу:
Кто в черную келью...

Аврора *(удивленно)*

Какой ты веселый!

Амур

Бог любит веселье!

Аврора

Я думала — ангелы
Только грустят.

Амур

Пустое, пустое!
Обман для ребят,
Для баб, для монашек...
— А впрочем, ведь мать
Вероятно нас ждет,
Идем, мой барашек!

Прощайся с кроваткой детской своей,
В нее уж не ляжешь...

Аврора

Мне грустно...

Амур

Скорей!

Прощайся, прощайся!

Аврора

Ах, по сердцу — нож!

Амур

Назад не вернешься! — Назад не вернешь!
— Готов ли твой дух к испытанью?

Аврора *(жалобно)*

Готов.

— А кто же накормит моих голубков?
Мне смутно, мне грустно...

Амур

Ты в стаде — овца

Любимая будешь.

Аврора

А кто же отца
Слепого на завтрашний праздник сведет?

Амур *(нетерпеливо)*

Не нищий отец твой, — служанку наймет!

(Встает и берет со стола узорный ящичек:)

— Что в этой шкатулке?

Аврора *(равнодушно)*

Так, — детский обман:

Цепочки, колечки...

Амур

Давай-ка в карман!
— Вступительный дар твой в Обитель Любви.

Аврора *(с внезапным сомнением)*

А где же огромные крылья твои?

Амур

Гм... Крылья? — Под рясой...

Аврора *(так же)*

Никак не пойму, —
Какой-то другой ты...

Амур *(как гром с кафедры)*

А помнишь Фому?

Аврора

Я знаю, сей день — величайший из дней,
Но все ж на колодце ты был...

Амур

Ну?

Аврора *(с долгосдержанным вздохом)*

— Родней.

Амур

Ну ладно, идем,
Разберемся дорогой.

Держи меня за плечи:
(Пьян я, как черт!)
Три века стоял я, —
На ножках не тверд.

Картина четвертая

ЗАМОК ВЕНЕРЫ

(Монастырь — не монастырь, дворец — не дворец. И монастырь, и дворец. Статуи Венеры, наскоро преображенные в статуи Богородицы. Несказанное обилие роз, золото, пурпур, яшма. Мраморная мозаика потолка и стен. Приемная загородной итальянской виллы какого-нибудь вельможи.)

Амур *(вводя за собой Аврору)*

И будет неизменный Май
Наградой за твое доверье...
— Входи, невеста...

Аврора *(ослепленная)*

Это — рай?

Амур

Нет, деточка, — его преддверье!

Аврора

Как эти своды глубоки!
Как гулок — голос! — Сделай милость,
Скажи, здесь будут голубки,
Чтоб я любить не разучилась?

Амур *(весело)*

Не разучилась?! — Головой
Ручаюсь, что во всей вселенной
Нет лучше — школы.

Аврора

Голос твой

Сейчас как ветер переменный...
Глаза твои — как будто вниз
Лечу с какой-то страшной башни.
— Ох, я боюсь тебя!

Амур

Проснись!
Гляди: вокруг порфир, и яшма,
И пурпур...

Аврора

Про какой-то грот
Я в детстве помню разговоры...

Венера *(в виде настоятельницы, входя)*

Благословляю твой приход
В дом праведной любви, Аврора!

Амур *(Авроре)*

Мать Вероника! Преклони
Колени!

(Аврора повинуется)

Венера

Как морская пена —
О скалы, разобьются дни —
О Вечность! — Распрями колени!
Встань! — В легком гуле голубиных стай

Там дни обманны, как валы морские.
— Пусть увядают дерева мирские! —
Не увядает монастырский Май!

(К Амуру:)

— Отныне вся она — твоя,
Жених: и сном и вздохом каждым.

(Авроре:)

— Встань! Причастись из древних рук моих.
Великой тайне Голода и Жажды.
— Пригубь.

(Аврора, не вставая с колен, пьет.)

Венера

Дрожит и кружится
Земля под пятами.
Любовная пытка,
Любовная память.

Кровавые распри
И страстные слёзы...
— Кровь, пламя и розы,
Кровь, пламя и розы...

(Бросает чашу.)

(Авроре, указывая на Амура:)

К нему ты отныне
Гвоздем пригвожденная!

Амур *(впервые — тот — древний Амур)*

— Матерь! — Богиня!
Пеннорожденная!

(Припадает к ее руке)

— МУЗЫКА. —

Аврора *(одним движением вставая с колен)*
Ангел! — Что это за звуки?

Амур

Это — ангельские лютни.

Аврора

Ангел, это не по струнам
Ударяют, а по жилам!

(Почти повелительно:)

— Что это за запах?

Амур

Ладан.

Аврора

Не обманешь, — это розы!
Тысячи кустов цветущих!
Целые сады Востока!

Ангел! Что-то здесь неладно! *
Кто-то здесь обманут! — Ангел! —
Грудь горит, как будто душу
Красным выжгли мне железом!
— Пить!!! —

Венера *(— единственный раз — за всю себя — человечески)*

---

* Вариант: «Ангел! Кто-то здесь не ладно!»

Дитя, на эту жажду —
Нет воды.

Аврора

Вина!

Венера, уже грозно:

На эту
Жажду — нет вина.

Аврора

Кромешный
Ад в груди моей!

(Кидаясь к Амуру на грудь:)

— Дай губы!!!

(Поцелуй.)

(Двери настежь. Наверху лестницы — Ангел. Одежды как буря. Одно крыло сломано)

Ангел

О — СТА — НО — ВИСЬ!
Этот вор — солгал!
Я как вихрь — мчал!
Я крыло — сломал!

Аврора *(в объятьях Амура)*

Кто ты? Что тебе надо?

Венера

Прочь,
Райский идол! — Взгляни на чашу!

Ангел

Почернело кольцо, как ночь!
Эта юность — моя!

Амур и Венера *(в один голос)*

Наша!

Аврора *(издалека)*

В сердце — белый туман большой...

(Прижимаясь к Амуру, чуть тревожно:)

Я не знаю, чего он хочет?

Ангел

Я пришел за твоей душой!

Амур

Этот идол тебя морочит.
— Чья ты, нежная кровь?

Аврора

Твоя.

Амур *(Ангелу)*

Слышишь? — Живо назад, маршем.

Аврора

У садовника — сыновья
Были в Кёльне... Не вы ли — старший?
Нет? Ошиблась?

Ангел

Аврора, спишь!
Спишь, проснись!

Венера *(Амуру — на Ангела)*

Какова фигура!

Ангел

Эта святость — Венера, ты ж
На груди самого Амура!

(Закрывает лицо руками)

Аврора *(Амуру, блаженно)*

Тебя зовут Амур?

Амур *(во всем блеске и славе)*
Зовут Амур.

Аврора *(прислушиваясь)*

Как будто рокот голубиный . . .
Амур — Аврора . . . Гулли — гурри — гур . . .

(Ангелу:)

Ах, помню, помню . . . Под рябиной,
Под красной — в мужа и жену
Мы все играли . . . Я вздыхала.
Вы уезжали на войну,
А я платочком вам махала . . .
Нет? — Значит, я ошиблась вновь!

Амур *(нетерпеливо)*

Что ты нашла в таком уродце?

Аврора *(издалека)*

Так, — про какую-то любовь
Сон — у какого-то колодца . . .

Ангел

Аврора! — Этот дом — обман.
Ты в логове Венеры тёмной.
Я каменный твой ангел!

Амур *(Авроре)*

Пьян!

Аврора

Мой ангел каменный? — Не помню.

Венера

Бесстыдник ты!

Амур

Так врать в лицо!

(Взбегает на лестницу. Толкая Ангела в грудь)

— Марш, проворонишь литургию!

Ангел *(перегибаясь через перила)*

— Возьми назад свое кольцо
И помни: Иисус — Мария.

Аврора

Амур! — Амур! — Амур! — Амур!

(Становится на цыпочки и протягивает Ангелу деньгу:)

Возьмите и идите с миром.

(Рука не встретила руки. Денежка, звеня, покатилась.)

Амур

На ложе из звериных шкур,
Пресыщенные брачным пиром,
Возляжем . . .

Аврора

Целовать меня
Ты будешь в губы — в кудри — в очи!

Ангел *(на пороге)*

Я буду ждать тебя три дня,
Я буду ждать тебя три ночи . . .

Амур *(украдкой вынимая четки)*

А жемчуг продадим жиду!

(С ложным пафосом:)

— Мать, распахни мои чертоги
Моей невесте!

Голос Ангела

Помни, жду
На камне, у большой дороги.

Катрина пятая

КОЛЬЦО

(Логово Амура. Каменные стены пещеры, увешанные трофеями любовной — и иной — охоты. Так, вперемежку: сердца, пронзенные стрелой, шкуры зверей, охотничьи ножи, флейты, — над входом, как родословное древо — оленьи рога, — в углу страшная голова вепря — самострелы — от грубейшего до резного, игрушечного, перья никем не виданных птиц, маски и полумаски...

Каменная берлога Рока — и убиральная Красавицы.

На полу, на медвежьей шкуре, в одежде придворного охотника, запрокинув руки за прекрасную, как Солнце, голову, — спит Амур.

Входит Герцогиня. 20 лет. Темная красавица. Черная парчевая роба — колом — от позолоты.)

Герцогиня *(упираясь кончиком пальца в грудь Амуру)*

Охотник, спите?

Амур

Герцогиня!

Вы здесь! — Одна! — В ночи! — Без свиты.

(Хочет встать, Герцогиня нежно и властно укладывает его на прежнее место.)

А ты не знаешь, что гордыне —
Одна услада: быть разбитой!
Что крепости мечта — быть взятой,
Что избранной мечта — быть сотой
По счету. — От весны двадцатой
Не охраняет сан высокий.

Амур

Как герцог?

Герцогиня

До седьмого поту
Зеваем, — но верны друг другу.
Вся разница: супруг — в охоту
Влюблен, в охотника — супруга!
Амур! Я вас люблю! — Несносна
Сама себе без вас. — В отлучке
Супруг,

(лукаво)

а я у старой крестной

Ночую нынче...

(смеется.)

Амур *(уже окончательно войдя в роль)*
Дайте ручку!

Голос Авроры

Спи, сыночек,
Спи, сынок.
Спи, стрелочек,
Ангелочек.
Как челнок —
Твоя лежанка...

Герцогиня

Кто это поет?

Амур

Служанка.

Герцогиня

Смазливенькая?

Амур

Д-да... мила...
Мила... Верней сказать: была
Мила... Любовь не в меру — рубит
Как топором. — Не в меру любит.

Герцогиня

Кого баюкает?

Амур

Сынка.

Герцогиня

Чьего?

Амур

Немало у щенка
Отцов, но и щенят изрядно —
У каждого отца...

Герцогиня

— Наглядно. —

Голос Авроры *(снова явственный)*

...Спи, сыночек,
Спи сынок!
Твой отец —
Лихой стрелок.

Мало в темных рощах дичи,
Целый мир ему — добыча,
На смерть ранит — сердца!
Будь добрее — отца!

Спи, сынок!
Сыночек, слушай!
Убивать живую душу
Нет греха тяжелей!
Юных женщин — жалей!
Не бери ты лук и стрелы,
Вырастай ты — ангел белый,
И в блаженном раю
Вспомни Матерь твою!..

( )*

Герцогиня *(вставая)*

Ребята, тряпки, люльки, соски...
— Прекрасным радостям отцовским
Предоставляю вас.

Амур *(капризно)*

Куда?

Герцогиня

Прощай, Амур. Я не горда.
Но все ж, блюдя обычай предков,

Амур *(уже влюбленно)*

Богиня!

Герцогиня

...не приму объедков.

— Прощайте.

Амур

Я до гроба — Ваш!

---

* Пропущено в рукописи М. Цветаевой.

Герцогиня

Прошла сиятельная блажь.

(У выхода:)

— Прощайте. *

*

(Настигает ее, заключает в объятья)

* Амур

Герцогиня, поздно

Шутить!..*

Герцогиня

Пусти!

Амур

Не жить нам розно!
Смотрите! — Я плохой шутник!
Послушайте, на краткий миг
Сокройте звездный лик...

(Открывает потайную дверку)

Герцогиня *(полусмеясь)*

Апостол!

Амур

...за дверью сей!

Герцогиня *уже спрятанная)*

Считаю до ста.

---

* Пропущено в рукописи М. Цветаевой.

Амур

Ав-ро-ра!

(Через некоторое время — явление Авроры. Дитя стало женщиной, счастливая — несчастной. — Тень прежней Авроры.)

Аврора

Господин!..

Амур *(с лицемерной ласковостью)*

Опять

Не спишь, голубка.

Аврора

Милый, — мать
Такой бессонницей — за ночи
Другие платит. — Спи сыночек.

Амур

Иди и ляг.

Аврора

...Как два крыла
Сложил ручонки. — Я спала
Часочек.

Амур *(взрывом)*

Святость, бледность, хилость, —
Как призрак! — Что ж тебе приснилось?

Аврора

Поломанное — как всегда —
Крыло — и темная вода.

Амур *(развязно)*

Аврора, нынче ж ночью
Водой *
Безделку я прошу на память.
Так — ленточку — кольцо на палец.

(Играет ее колечком.)

Готовь мне жирного тельца!

Аврора

Но ты ведь знаешь, что кольца
Никак не снять мне!

Амур

Мигом сдернем!

Давай-ка руку!

Аврора

Палец с корнем

Скорее вырвешь!

(Амур работает над кольцом. Аврора кривится от боли)

Амур

Ну-ка! Ух!
— Тень! — Привиденье! — Черный дух!
— Злодейка! — Ведьма!

Аврора

Милый! Милый!

*

Ты пахнешь кровью! — Ты могилой
Пропахла!

---

* Так в рукописи у М. Цветаевой. (Во втором случае, вероятно, пропущено: «Амур».)

Аврора

Ради всех святых —
Разбудишь сына!

Амур

Твой жених —
Сам Князь Полночный!

Аврора

Милый, сжалься!

Амур

Уж знаем мы — с какого пальца
Такие кольца! — Кто — во мгле —
Твой ангел об одном крыле!
— Вон!!!

(Топает ногами, — доигрался до настоящей ярости)

Аврора

Сына пощади!

Амур

Ублюдка?

В мешок — и в реку! *

Аврора

Бог рассудка

Тебя лишил!

Амур

Чёрт в люльке!

---

* В мешок — и в воду! (Вариант.)

Аврора

Ложь!
На ангела похож!

Амур

Похож —
На ангела?! — Вон! — Иль с мосту —
Обоих!

Герцогиня *(за дверкой)*

Досчитала до ста.
Прощайте!

Амур

От влюбленных дур
Лоб заболел!

Герцогиня *(входя)*

Амур!

Аврора *(уходя)*

— Амур!..

Картина шестая

АНГЕЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ

(Колодец Св. Ангела — без Ангела. Липы в цвету. 4 ч. дня. На каменном ободе колодца — Венера, в виде почтенной сводни. Черное платье, белый чепец, на груди толстая золотая цепь. Рядом с ней мешок с едой. В руках чулок, который она, конечно, не вяжет.)

Венера

Ох-ох-ох! — Грехи наши тяжкие!
У соседней вдовы три чашки я
Кофейку дарового выпила,
А уж сахару сколько всыпала!

(Хнычет)

Нет у матери сына-пахаря,
Всё до нитки проели — пропили!
— Не жалеть же чужого сахара!
Не жалеть же чужого кофия!

Зуб последний — и тот качается . . .
Плохо славная жизнь кончается!

— Ох-ох-ох! Плохой доход —
Лысый лоб, да впалый рот,
Да в корявых пальцах — спицы!

Спицы, спицы, плясовицы,
Спицы, быстрые девицы!
Я б сама пустилась в пляс,
Каб по швам не разошлась!

Щеки дряблы, ноги слабы,
И всего одна услада:
Что колодец пересох,
Ангел каменный издох!

Молодцы — в собор — на бочке,
Под кусты — хвост в зубы — дочки,
Поп — и тот дружит с жидом,
Где ни плюнь — веселый дом!

Каб не старость, ворона черная,
Все бы губы о губы стерла я
У кисейного, у окошечка . . .

(Из-за группы лип показывается Аврора. Если в прежней картине она — тень, сейчас она — привидение. — Но прелестная! — На руках спящий ребенок в тряпках.)

Аврора

Ты не дашь ли мне, бабка, ковшичка?

Венера

Чтой-то больно заплаканы,
Девка, очи хорошие?

Аврора

Как же, бабка, не плакать мне?
Я с ребеночком брошена!
— Значит, нет у тебя ковша?

Венера

И слепа ж ты, моя душа!
Аль не видишь — становися к краю —
Что в колодце вода — сухая?
Дай-ка, девица, из мешка,

Чем . . . .* — Хошь, не охай!
— Значит, девица без дружка —
И с ребеночком. — Дело плохо! —
Было б лучше — пригнись ушком! —
Без ребеночка — и с дружком . . .

(Шепчет ей что-то на ухо)

Аврора *(отшатываясь)*

Я! Чтоб сына!

(Прижимает ребенка к себе)

Венера

Да я без зла,
Так, сболтнула, ошиблась, старая . . .
— Расскажи-ка теперь, сударыня,
С кем ребеночка прижила?

Был он знатный, аль так, простой?
Сын купецкий, аль так, бездомный?

Аврора

В сердце точно туман густой,
Даже лика его не помню . . .

Венера

Может старый какой урод?
Аль монах какой? — Бабье дело! —

Аврора

Помню только, что алый рот,
Да за поясом . . .

---

* Пропущено в рукописи М. Цветаевой.

Венера

Ну-ка?

Аврора

— Стрелы.

Венера

Так охотничек? — Так. — Аха.

(В это мгновение узнает Аврору. Наклонясь над ребенком:)

Тыщу первый внучёк — здорово!
Нет такого уж жениха
Нам с тобой не сыскать второго!
Сам Амур это был. — Твой бал
Пышно начат. — Сам бог влюбился! —
— А за что он тебя прогнал?

Аврора

А за то, что мне Ангел снился.

Венера

Ангел? Бог? — Дитя, Бог с ними,
С крыльями, да с счастьем тяжким.
Ты богов оставь — богиням,
Ангелов оставь — монашкам.

Брось крылатые игрушки!
Веселей — клянусь Венерой! —
Просто-напросто — подушкой
Стать любому кавалеру!

Слушай, девка! Здесь недаром
Мы сошлись, — на радость людям!

Хочешь сделку? Хочешь — будем
Я — купцом, а ты — товаром?
Чудо — лавка! Как святыню
Разряжу тебя в уборы.
А над входом — по латыни:
«Дом Венеры и Авроры».

Нынче день у нас — суббота,
Скоро день Венерин — вторник.
Посмотри-ка: без заботы —
И ребеночка прокормишь.

По рукам? — Молчишь? — Ну, молча
Хоть кивни, коль стыдно — губками.
Я тебе свой опыт волчий
Одолжу, а ты мне — зубки.

Прибыль — пополам. С ответом
Поспеши, а там за дело —
Дружно!

Аврора

Ангел мой пресветлый!

Венера

Что?

Аврора

Колечко побелело!

Венера *(с разгорающимися глазами)*

Будут гости даровые:
Княжьи первенцы, подростки,
Церковь...

Аврора *(над кольцом)*

Иисус, Мария!

Венера

Что еще?

Аврора:

Блестит, как слёзка!

(Звон колокола)

Благовест!

Венера

Сынок твой князем
Будет в красном весь, в атласном.

Аврора *(сложив молитвенно руки)*

Ангельская весть!

Венера

Грязь грязью!

Подыхай с щенком!

(Аврора смотрит, на нее, на ребенка — руки расплетаются — и — с бесконечной усталостью.)

— Согласна.

(Из-под лип — в синем звездном плаще — Богоматерь. В руках высокая — как лилия серебряная чаша.)

Богоматерь

— Нет! —
Как смеешь в мой светлый день,
Тварь, торги заключать?

—При виде Её Венера съёживается на земле, как жаба, Аврора падает на колени.)

— В ту гору

Заключаю тебя навек!

(Венера на четвереньках уползает.)

Аврора *(протягивая руки)*

Богородица — Свет!

Богоматерь *(с бесконечной благостью)*

Аврора!

— Милое мое дитя!
Ради майския субботы
Я у мальчика — Христа
Выпросила дар великий:
Чашу полную сию,
Душу вольную твою.

Кто земное божество
Возлюбил, кому небесный
Ангел снился — тот любить
Земнородного не может.

Роза, здесь тебе не цвесть!
Слушай Ангельскую Весть!

В этой чаще — свет и тень,
В ней и Память, и Забвенье.
Память о большой любви
И забвение — о малой.

Пей, омой свои уста
В чаше Памяти — Забвенья.

(Наклоняет чашу. Аврора пьет. — Ангельская музыка. — Аврора встает, как зачарованная обходит колодец — и ликующим голосом — неким любовным Аллилуйя:)

— Весь колодец осушу —
Не забыть!
А колечко если сброшу —
Всплывет!
От того — что я тебя
Одного
До скончания вселенной —
Люблю!

(Глядит, глядит, и [с потрясающим криком]:)*

Но где же ты, пресветлый,
Иль взор мой не зряч?
Ослепла! Ослепла!

Богоматерь

Девица, не плачь.
Тебя не оставим
Меж темных и злых, —
На облачной славе —
Теперь твой жених.

О, бедные люди!
— Нет, рук не ломай! —
Он помнит, он любит,
Он ждет тебя в Рай.

---

* Зачеркнуто в рукописи М. Цветаевой.

Аврора

А как же с сыночком?

Богоматерь *(улыбаясь)*

Их много — в Саду!
К другим ангелочкам
Его отведу.

(Последние струи ангельской музыки.)

14 июня 1919—1 июля 1919

Повесть о Сонечке

Часть первая

Павлик и Юра

ПАВЛИК И ЮРА

Elle était pâle — et pourtant rose,
Petite — avec de grands cheveux...

Нет, бледности в ней не было никакой, ни в чем, все в ней было — обратное бледности, а все-таки она была — pourtant rose, и это своеместно будет доказано и показано.

Была зима 1918—1919 г., пока еще зима 1918 г., декабрь. Я читала в каком-то театре, на какой-то сцене, ученикам Третьей студии свою пьесу «Метель». В пустом театре, на полной сцене.

«Метель» моя посвящалась: — Юрию и Вере З., их дружбе — моя любовь. Юрий и Вера были брат и сестра, Вера в последней из всех моих гимназий — моя соученица: не одноклассница, я была классом старше, и я видела ее только на перемене: худого кудрявого девического щенка, и особенно помню ее длинную спину с полуразвитым жгутом волос, а из встречного видения, особенно — рот, от природы — презрительный, углами вниз, и глаза — обратные этому рту, от природы смеющиеся, то есть углами вверх. Это расхождение линий отдавалось во мне неизъяснимым волнением, которое я переводила ее красотою, чем очень удивляла других, ничего такого в ней не находивших, чем безмерно удивляли — меня. Тут же скажу, что я оказалась права, что она потом красавицей — оказалась и даже настолько, что ее в 1927 г., в Париже, трудно-больную, из последних ее жил тянули на экран.

С Верой этой, Вере этой я никогда не сказала ни слова и теперь, девять лет спустя школы надписывая ей «Метель», со страхом думала, что она во всем этом ничего не

поймет, потому что меня наверное не помнит, может быть никогда и не заметила.

(Но почему Вера, когда Сонечка? А Вера — корни, доистория, самое давнее Сонечкино начало. Очень коротенькая история — с очень долгой доисторией. И поисторией.)

Как Сонечка началась? В моей жизни, живая, началась?

Был октябрь 1917 г. Да, тот самый. Самый последний его день, то есть первый по окончании (заставы еще догромыхивали). Я ехала в темном вагоне из Москвы в Крым. Над головой, на верхней полке, молодой мужской голос говорил стихи. Вот они:

И вот она, о ком мечтали деды
И шумно спорили за коньяком,
В плаще Жиронды, сквозь снега и беды,
К нам ворвалась — с опущенным штыком!

И призраки гвардейцев-декабристов
Над снеговой, над пушкинской Невой
Ведут полки под переклик горнистов,
Под зычный вой музыки боевой.

Сам Император в бронзовых ботфортах
Позвал тебя, Преображенский полк,
Когда в заливах улиц распростертых
Лихой кларнет — сорвался и умолк . . .

И вспомнил он, Строитель Чудотворный,
Внимая петропавловской пальбе —
Тот сумасшедший — странный — непокорный,
Тот голос памятный: — Ужо Тебе!

— Да что же это, да чье же это такое, наконец?

— Автору семнадцать лет, он еще в гимназии. Это мой товарищ — Павлик А.

Юнкер, гордящийся, что у него товарищ — поэт. *Боевой* юнкер, пять дней дравшийся. От поражения отыгрывающийся — стихами. Пахнуло Пушкиным: *теми* дружбами. И сверху — ответом:

— Он очень похож на Пушкина: маленький, юркий, курчавый, с бачками, даже мальчишки в Пушкине зовут его: Пушкин. Он все время пишет. Каждое утро — новые стихи.

Инфанта, знай: я на любой костер готов взойти,
Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть
Твои глаза...

А это — из «Куклы Инфанты», это у него пьеса такая. Это Карлик говорит Инфанте. Карлик любит Инфанту. Карлик — он. Он, правда, маленький, но совсем не карлик.

...Единая — под множеством имен...

Первое, наипервейшее, что я сделала, вернувшись из Крыма — разыскала Павлика. Павлик жил где-то у Храма Христа Спасителя, и я почему-то попала к нему с черного хода, и встреча произошла на кухне. Павлик был в гимназическом, с пуговицами, что еще больше усиливало его сходство с Пушкиным-лицеистом. Маленький Пушкин, только — черноглазый: Пушкин — легенды.

Ни он, ни я ничуть не смутились кухни, нас толкнуло друг к другу через все кастрюльки и котлы — так, что мы — внутренно — звякнули, не хуже этих чанов и котлов. Встреча была вроде землетрясения. По тому, как я поняла, кто он, он понял, кто я. (Не о стихах говорю, я даже не знаю, знал ли он тогда мои стихи.)

Простояв в магическом столбняке — не знаю сколько, мы оба вышли — тем же черным ходом, и заливаясь стихами и речами...

Словом, Павлик пошел — и пропал. Пропал у меня, в Борисоглебском переулке, на долгий срок. Сидел дни, сидел утра, сидел ночи... Как образец такого сидения приведу только один диалог.

Я, робко: — Павлик, как вы думаете — можно назвать — то, что мы сейчас делаем — мыслью?

Павлик, еще более робко: — Это называется — сидеть в облаках и править миром.

У Павлика был друг, о котором он мне всегда рассказывал: Юра З. — «Мы с Юрой... Когда я прочел это Юре... Юра меня все спрашивает... Вчера мы с Юрой нарочно громко целовались, чтобы подумали, что Юра, наконец влюбился... И подумайте: студийцы выскакивают, а вместо барышни — я!!!»

В один прекрасный вечер он мне «Юру» — привел. — А вот это, Марина, мой друг — Юра З., — с одинаковым напором на каждое слово, с одинаковым переполнением его.

Подняв глаза — на это ушло много времени, ибо Юра не кончался — я обнаружила Верины глаза и рот.

— Господи, да не брат ли вы... Да, конечно, вы — брат... У вас не может не быть сестры Веры!

— Он ее любит больше всего на свете!

Стали говорить Юрий и я. Говорили Юрий и я, Павлик молчал и молча глотал нас — вместе и нас порознь — своими огромными тяжелыми жаркими глазами.

В тот же вечер, который был — глубокая ночь, которая была — раннее утро, расставшись с ними под моими тополями, я написала им стихи, им вместе:

Спят, не разнимая рук —
С братом — брат, с другом — друг,
Вместе, на одной постели...
Вместе пили, вместе пели...

Я укутала их в плед,
Полюбила их навеки,
Я сквозь сомкнутые веки
Странные читаю вести:
Радуга: двойная слава,
Зарево: двойная смерть.

Этих рук не разведу!
Лучше буду, лучше буду
Полымем пылать в аду!

Но вместо полымя получилась — Метель.

Чтобы сдержать свое слово — не разводить *этих* рук — мне нужно было свести в своей любви — другие руки: брата и сестры. Еще проще: чтобы не любить *одного* Юрия и этим не обездолить Павлика, с которым я могла только «совместно править миром», мне нужно было любить Юрия плюс еще что-то, но это что-то не могло быть Павликом, потому что Юрий плюс Павлик были уже данное, — мне пришлось любить Юрия плюс Веру, этим Юрия как бы рассеивая, а на самом деле — усиливая, сосредоточивая, ибо все, чего нет в сестре, мы находим в брате. Мне досталась на долю ужасно полная, невыносимо полная любовь. (Что Вера, больная, в Крыму и ничего ни о чем не знает — дела не меняло.)

Отношение с самого начала — стало.

Было молча условлено и установлено, что они всегда будут приходить вместе — и вместе уходить. Но так как ни одно отношение сразу стать не может, в одно прекрасное утро телефон: — Вы? — Я. — А нельзя ли мне когда-нибудь прийти к вам *без* Павлика? — Когда? — Сегодня.

(Но где же Сонечка? Сонечка — уже близко, уже почти за дверью, хотя по времени — еще год.)

Но преступление тут же было покарано: нам с З. наедине было просто скучно, ибо о главном, то есть мне и нем, нем и мне, нас, мы говорить не решались (мы еще лучше вели себя с ним наедине, чем при Павлике!), все же остальное — не удавалось. Он перетрагивал на моем столе какие-то маленькие вещи, спрашивал про портреты, а я — даже про Веру ему говорить не смела, до того Вера была — он. Так и сидели, неизвестно что высиживая, высиживая единственную минуту прощания, когда я, проводив его с черного хода по винтовой лестнице и на последней ступеньке остановившись, при чем он все-таки оставался выше меня на целую голову, — да ничего, только взгляд: — да? — нет — может быть да? — пока еще — нет — и *двойная* улыбка: его восторженного изумления, моя — нелегкого торжества. (Еще одна такая победа и мы разбиты.)

Так длилось год.

Своей «Метели» я ему тогда, в январе 1918 г., не прочла. Одарить одиноко можно только очень богатого, а так как он мне за наши долгие сидения таким не показался, Павлик же — оказался, то я и одарила ею Павлика — в благодарственную отместку за «Инфанту», тоже посвященную не мне — для Юрия же выбрала, выждала самое для себя трудное (и для себя бы — бедное) чтение ему вещи перед лицом всей Третьей студии (все они были — студийцы Вахтангова, и Юрий, и Павлик, и тот, в темном вагоне читавший «Свободу» и потом сразу убитый в Армии) и, главное, перед лицом Вахтангова, их всех — бога и отца-командира.

Ведь моей целью было одарить его возможно больше, больше — для актера — когда людей больше, ушей больше, очей больше . . .

И вот, больше года спустя знакомства с героем, и год спустя написания «Метели» — та самая полная сцена и пустой зал.

(Моя точность скучна, знаю. Читателю безразличны даты, и я ими врежу́ художественности вещи. Для меня же они насущны и даже священны, для меня каждый год и даже каждое время года тех лет явлен — лицом: 1917 г. — Павлик А., зима 1918 г. — Юрий З., весна 1919 г. — Сонечка . . . Просто не вижу ее вне этой девятки, двойной единицы и двойной девятки, перемежающихся единицы и девятки . . . Моя точность — моя последняя, посмертная верность.)

Итак — та самая полная сцена и пустой зал. Яркая сцена и черный зал.

С первой секунды чтения у меня запылало лицо, но — так, что я боялась — волосы загорятся, я даже чувствовала их тонкий треск, как костра перед разгаром.

Читала — могу сказать — в *алом* тумане, не видя тетради, не видя строк, наизусть, на авось читала, единым духом — как пьют! — но и как поют! — самым певучим, за сердце берущим из своих голосов.

. . . И будет плыть в пустыне графских комнат
Высокая луна.

Ты — женщина, ты ничего не помнишь.
Не помнишь . . .
(настойчиво)
не должна.

Страннице — сон.
Страннику — путь.
Помни! — Забудь.

(Она спит. За окном звон безвозвратно удаляющихся бубенцов.)

Когда я кончила — все сразу заговорили. Так же *полно* заговорили, как я — замолчала. — Великолепно. — Необычайно. — Гениально. — Театрально — и т. д. — Юра будет играть Господина. — А Лиля Ш. — старуху. — А Юра С. купца. — А музыку — те самые безвозвратные колокольчики — напишет Юра Н. Вот только — кто будет играть Даму в плаще?

И самые бесцеремонные оценки, тут же, в глаза: — *Ты* — не можешь: у тебя бюст велик. (Вариант: ноги коротки.)

(Я, молча: — Дама в плаще — моя душа, ее никто не может играть.)

Все говорили, а я пылала. Отговорив — заблагодарили. — За огромное удовольствие . . . За редкую радость . . . Все чужие лица, чужие, т. е. ненужные. Наконец — он: Господин в плаще. Не подошел, а отошел, высотою, как плащем, отъединяя меня от всех, вместе со мною, к краю сцены: — Даму в плаще может играть только Верочка. Будет играть только Верочка. *Их дружбе — моя любовь?*

— А это, Марина, — низкий торжественный голос Павлика, — Софья Евгеньевна Голлидэй, — совершенно так же, как год назад: — А это, Марина, мой друг — Юра З. Только на месте *мой друг* — что-то — проглочено. (В ту самую секунду, плечом чувствую, Ю. З. отходит.)

Передо мной маленькая девочка. *Знаю,* что Павликина Инфанта! С двумя черными косами, с двумя огромными черными глазами, с пылающими щеками.

Передо мною — живой пожар. Горит все, горит — вся. Горят щеки, горят губы, горят глаза, несгораемо горят в ко-

стре рта белые зубы, горят — точно от пламени вьются! — косы, две черных косы, одна на спине, другая на груди, точно одну костром отбросило. И взгляд из этого пожара — такого восхищения, такого отчаяния, такое: боюсь! такое: люблю!

— Разве это бывает? Такие харчевни... метели... любови... Такие Господины в плаще, которые нарочно приезжают, чтобы уехать навсегда? Я всегда знала, что это — было, теперь я знаю, что это — есть. Потому что это — правда — было: вы, действительно, так стояли. Потому что это *вы* стояли. А Старуха — сидела. И все знала. А Метель шумела. А Метель приметала его к порогу. А потом — отметала... заметала след... А что было, когда она завтра встала? Нет, она завтра не встала... Ее завтра нашли в поле... О, почему он не взял ее с собой в сани? Не взял ее с собой в шубу?..

Бормочет, как сонная. С раскрытыми — дальше нельзя! — глазами — спит, спит наяву. Точно мы с ней одни, точно никого нет, точно и меня — нет. И когда я, чем-то отпущенная, наконец, оглянулась — действительно, на сцене никого не было: все почувствовали или, воспользовавшись, бесшумно, беззвучно — вышли. Сцена была — наша.

И только тут я заметила, что еще держу в руке ее ручку.

— О, Марина! Я тогда так испугалась! Так потом плакала... Когда я вас увидела, услышала, так сразу, так безумно полюбила, я поняла, что вас нельзя не полюбить безумно — я сама вас так полюбила сразу...

— А он *не* полюбил.

— Да, и теперь кончено. Я его больше не люблю. Я вас люблю. А его я презираю — за то, что не любит вас — на коленях.

— Сонечка! А вы заметили, как у меня тогда лицо пылало?

— Пылало? Нет. Я еще подумала: какой нежный румянец...

— Значит, внутри пылало, а я боялась — всю сцену — весь театр — всю Москву сожгу. Я тогда думала — из-за него, что ему — его— себя, себя к нему — читаю — перед всеми — в первый раз. Теперь я поняла: оно навстречу вам пылало, Сонечка . . . Ни меня, ни вас. А любовь все-таки вышла. Наша.

Это был мой последний румянец, в декабре 1918 г. Вся Сонечка — мой последний румянец. С тех приблизительно пор у меня начался тот цвет — нецвет — лица, с которым мало вероятия, что уже когда-нибудь расстанусь — до последнего нецвета.

Пылание ли ей навстречу? Отсвет ли ее короткого бессменного пожара?

. . . Я счастлива, что мой последний румянец пришелся на Сонечку.

— Сонечка, откуда — при вашей безумной жизни — не спите, не едите, плачете, любите — у вас этот румянец?

— О, Марина! Да ведь это же — из последних сил!

Тут-то и оправдывается первая часть моего эпиграфа:

Elle était pâle — et pourtant rose . . .

То есть бледной — от всей беды — она бы быть должна была, но, собрав последние силы — нет! — пылала. Сонечкин румянец был румянец героя. Человека, решившего гореть и греть. Я часто видала ее по утрам, после бессонной со мною ночи, в тот ранний, ранний час, после поздней, поздней беседы, когда все лица — даже самые молодые — цвета зеленого неба в окне, цвета рассвета. Но нет! Сонечкино маленькое темноглазое лицо горело, как непогашенный розовый фонарь в портовой уличке, — да, конечно, это был — порт, и она — фонарь, а все мы — тот бедный, бедный мат-

рос, которому уже опять пора на корабль: мыть палубу, глотать волну...

Сонечка, пишу тебя на Океане. (О если бы это могло звучать: «Пишу тебе с Океана», но нет:) — пишу тебя на океане, на котором ты никогда не была и не будешь. По краям его, а главное на островах его, живет много черных глаз. Моряки знают.

Elle avait le rire si près des larmes et les larmes si près du rire — quoique je ne me souvienne pas de les avoir vues couler. On aurait dit que ses yeux étaient trop chauds pour les laisser couler, qu'ils les séchaient lors même de leur apparition. C'est pour cela que ces beaux yeux, toujours prêts à pleurer, n'étaient pas des yeux humides, au contraire — des yeux qui, tout en brillant de larmes, donnaient chaud, donnaient l'image, la sensation de la chaleur — et non de l'humidité, puisqu'avec toute sa bonne volonté — mauvaise volonté des autres — elle ne parvenait pas à en laisser couler une seule.

Et pourtant — si!

Belles, belles, telles des raisins égrénés, et je vous jure qu'elles étaient brûlantes, et qu'en la voyant pleurer — on riait de plaisir! C'est peut-être cela qu'on appelle „pleurer à chaudes larmes?" Alors j'en ai vu, moi, une humaine qui les avait vraiment chaudes. Toutes les autres, les miennes, comme celles des autres, sont froides ou tièdes, les siennes étaient brûlantes, et tant le feu de ses joues était puissant qu'on les voyait tomber — roses. Chaudes comme le sang, rondes comme les perles, salées comme la mer.

....On aurait dit qu'elle pleurait du Mozart.

А вот что о Сонечкиных глазах говорит Edmond About в своем чудесном „Roi des Montagnes":

— Quels yeux elle avait, mon cher Monsieur! Je souhaite pour

votre repos que vous n'en rencontriez jamais de pareils. Ils n'étaient ni bleus ni noirs, mais d'une couleur spéciale et personnelle faite exprès pour eux. C'était un brun ardent et velouté qui ne se rencontre que dans le grenat de Sibérie et dans certaines fleurs des jardins. Je vous montrerai une scabieuse et une variété de rose trémière presque noire qui rappellent, sans la rendre, la nuance merveilleuse de ses yeux. Si vous avez jamais visité les forges à minuit, vous avez du remarquer la lueur étrange que projette une plaque d'acier chauffée au rouge brun: voilà tout justement la couleur de ses regards. Toute la science de la femme et toute l'innocence de l'enfant s'y lisaient comme dans un livre; mais ce livre, on serait devenu aveugle à le lire longtemps. Son regard brûlait, aussi vrai que je m'appelle Hermann. Il aurait fait mûrir les pêches de votre espalier.

Понятен теперь возглас Павлика?

Знай, что готов я на любой костер взойти
Лишь только бы мне знать, что будут на меня
глядеть —
Твои глаза . . .

Мое же, скромное:

Глаза карие, цвета конского каштана, с чем-то золотым на дне, темно-карие с — на дне — янтарем: *не* балтийским: восточным: красным. Почти черные, с — на дне — красным золотом, которое временами всплывало: янтарь — растапливался: глаза с — на дне — топленым, потопленным янтарем.

Еще скажу: глаза немножко жмурые: слишком много было ресниц, казалось — они ей мешали глядеть, но так же мало мешали нам их, глаза, видеть, как лучи мешают видеть звезду. И еще одно: даже когда они плакали — эти глаза смеялись. Поэтому их слезам не верили. Москва слезам не верит. Та Москва — тем слезам — не поверила. Поверила я одна.

Ей, вообще, не доверяли. О ней, вообще, на мои бьющие по всем площадям восторги, отзывались . . . сдержанно, да и сдержанно-то — из почтения ко мне, сдерживая явный суд и осуждение.

— Да, очень талантливая . . . Да, но, знаете, актриса толь-

ко на свои роли: на самое себя. Ведь она себя играет, значит — не играет вовсе. Она — просто живет. Ведь Сонечка в комнате — и Сонечка на сцене...

Сонечка на сцене:

Выходит маленькая, в белом платьице, с двумя черными косами, берется за спинку стула́ и рассказывает: — Жили мы с бабушкой... Квартирку снимали... Жилец... Книжки... Бабушка булавкой к платью пришпиливала... А мне — сты-ыдно...

Свою жизнь, *свою* бабушку, *свое* детство, *свою* «глупость»... *Свои* белые ночи.

Сонечку знал весь город. На Сонечку — ходили. Ходили — на Сонечку. — «А вы видали? такая маленькая, в белом платьице, с косами... Ну, прелесть!» Имени ее никто не знал: «такая маленькая...»

«Белые ночи» были — событие.

Спектакль был составной, трехгранный. Первое: Тургенев, «История лейтенанта Ергунова»: молодая чертовка, морока, где-то в слободской трущобе завораживающая, обморачивающая молодого лейтенанта. После всех обещаний и обольщений исчезающая — как дым. С его кошельком. Помню в самом начале она его ждет, наводит красоту — на себя и жилище. Посреди огромного сарая — туфля. Одинокая, стоптанная. И вот — размахом ноги — через всю сцену. Навела красоту!

Но это — не Сонечка. Это к Сонечке — введение.

Второе? Мне кажется — что-то морское, что-то портовое, матросское, — может быть Мопассан: брат и сестра? Исчезло.

А третье — занавес раздвигается: стул. И за стулом, держась за спинку — Сонечка. И вот рассказывает, робея и улыбаясь, про бабушку, про жильца, про бедную их жизнь, про девичью свою любовь. Так же робея и улыбаясь и сверкая глазами и слезами, как у меня в Борисоглебском рассказывая об Юрочке — или об Евгении Багратионовиче — так же не играя, или так же всерьез, насмерть играя, а больше

всего играя — концами кос, кстати никогда не перевязанных лентами, самоперевязанных, самоперекрученных природно, или прядями у висков играя, отстраняя их от ресниц, забавляя ими руки, когда те скучали от стула. Вот эти концы кос и пряди у висков — вся и Сонечкина *игра*.

Думаю, что даже платьице на ней было не театральное, не нарочное, а собственное, летнее, — шестнадцатилетнее, может быть?

— Ходил на спектакль Второй студии. Видал вашу Сонечку . . .

Так она для всех сразу и стала моей Сонечкой, — такая же *моя*, как мои серебряные кольца и браслеты — или передник с монистами — которых никому в голову не могло прийти у меня оспаривать — за никому, кроме меня, ненужностью.

Здесь уместно будет сказать, потому что потом это встанет вживе, что я к Сонечке сразу отнеслась еще и как к любимой вещи, подарку, с тем чувством радостной собственности, которого у меня ни до, ни после к человеку не было — никогда, к любимым вещам — всегда. Даже не как к любимой книге, а именно — как кольцу, наконец попавшему на нужную руку, вопиюще — моему, еще в том кургане — моему, у того цыгана — моему, кольцу так же мне радующемуся, как я — ему, так же за меня держащемуся, как я за него — самодержащемуся, неотъемлемому. Или уж — вместе с пальцем! Отношения этим не исчерпываю: плюс вся любовь, только мыслимая, еще и это.

Еще одно: меня почему-то задевало, раздражало, оскорбляло, когда о ней говорили Софья Евгеньевна (точно она взрослая!) или просто Голлидэй (точно она мужчина!) или даже Соня — точно на Сонечку не могут разориться! — я в этом видела равнодушие и даже бездушие. И даже бездарность. Неужели они (они и онѣ) не понимают, что она — именно Сонечка, что иначе о ней — грубость, что ее нельзя — *не* ласкательно. Из-за того, что Павлик о ней говорил Голлидэй (начав с Инфанты!), я к нему охладела. Ибо не только Сонечку, а вообще любую женщину (которая *не* общественный деятель) звать за глаза по фамилии — фамильярность, злоупотребление отсутствием, снижение, обращение ее в мужчину, звать же за глаза — ее детским именем

— признак близости и нежности, не могущий задеть материнского чувства — даже императрицы. (Смешно? Я была на два, на три года старше Сонечки, а обижалась за нее — как мать.)

Нет, все любившие меня: читавшие во мне называли ее мне — Сонечка. С почтительным добавлением — ваша.

Но пока она еще стоит перед нами, взявшись за спинку стула, настоим здесь на ее внешности — во избежание недоразумений:

На поверхностный взгляд она, со своими ресницами и косами, со всем своим алым и каштановым, могла показаться хохлушкой, малороссияночкой. Но — только на поверхностный: ничего типичного, национального в этом личике не было — слишком тонка была работа лица: работа — мастера. Еще скажу: в это лице было что-то от раковины — так раковину работает океан — от раковинного завитка: и загиб ноздрей, и выгиб губ, и общий завиток ресниц — и ушко! — все было резное, точеное — и одновременно льющееся — точно эту вещь *работали* и ею же — *играли:* не только Океан работал, но и волна — играла. Je n'ai jamais vu de perle rose, mais je soutiens que son visage était plus perle et plus rose.

Как она пришла? Когда? Зимой ее в моей жизни не было. Значит — весной. Весной 1919 г., и не самой ранней, а вернее — апрельской, потому что с нею у меня связаны уже оперенные тополя перед домом. В пору первых зеленых листиков.

Первое ее видение у меня — на диване, поджав ноги, еще без света, с еще-зарей в окне, и первое ее слово в моих ушах — жалоба: — Как я вас тогда испугалась! Как я боялась, что вы его у меня отымете! Потому что не полюбить — вас, Марина, не полюбить вас — на коленях — немыслимо, несбыточно, просто (удивленные глаза) — глупо? Потому я к вам так долго и не шла, потому что *знала*, что вас так полюблю, вас, которую любит он, из-за которой он меня *не* любит, и не знала, что мне делать с этой своей любовью, потому что

я вас *уже* любила, с первой минуты тогда, на сцене, когда вы только опустили глаза — читать. А потом — о, какой нож в сердце! какой нож! — когда он к вам *последний* подошел, и вы с ним рядом стояли на краю сцены, отгородившись от всего, одни, и он вам что-то тихонько говорил, а вы так и не подняли глаз, — так что он совсем *в вас* говорил... Я, Марина, правда не хотела вас любить! А теперь — мне все равно, потому что теперь для меня его нет, есть *вы*, Марина, и теперь я сама вижу, что он *не мог* вас любить, потому что — если бы мог вас любить — он бы не репетировал без конца «Святого Антония», а Святым Антонием бы — был, или не Антонием, а вообще святым...

— Юрием.

— Да, да, и вообще бы никогда бы не обедал и не завтракал. И ушел бы в Армию.

— Святым Георгием.

— Да. О, Марина! Именно Святым Георгием, с копьем, как на кремлевских воротах! Или просто бы *умер* от любви.

И по тому, как она произносила это *умер* от любви, видно было, что она сама — от любви к нему — и ко мне — и ко *всему* — умирает; революция-не революция, пайки-не пайки, большевики-не большевики — все равно умрет от любви, потому что это ее призвание — и назначение.

— Марина, вы меня всегда будете любить? Марина, вы меня *всегда* будете любить, потому что я *скоро* умру, я совсем не знаю отчего, я так люблю жизнь, но я *знаю*, что скоро умру, и потому, потому все так *безумно, безнадежно* люблю... Когда я говорю: Юра — вы не верьте. Потому что я знаю, что в других городах... — Только *вас*, Марина, нет в других городах, а — их!.. — Марина, вы когда-нибудь думали, что вот сейчас в эту самую минуту, в эту самую сию-минуточку, где-то, в портовом городе, может быть на каком-нибудь острове, всходит на корабль — тот, кого вы могли бы любить? А может быть — сходит с корабля — у меня это почему-то всегда матрос, вообще моряк, офицер или матрос — все равно... сходит с корабля и бродит по городу и ищет вас, которая здесь, в Борисоглебском переулке. А может быть просто проходит по Третьей Мещанской (сейчас в Москве ужасно много матросов, вы заметили? За

пять минут — все глаза растеряешь!), но Третья Мещанская, это так же далеко от Борисоглебского переулка, как Сингапур... (Пауза.) Я в школе любила только географию — конечно, не все эти широты и долготы и градусы (меридианы — любила), — имена любила, названия... И самое ужасное, Марина, что городов и островов много, полный земной шар! — и что на каждой точке этого земного шара — потому что шар только на виду такой маленький и точка только на вид — точка — тысячи, тысячи тех, кого я могла бы любить... (И я это всегда говорю Юре, в ту самую минуту, когда говорю ему, что кроме него не люблю никого, говорю, Марина, как бы сказать, тем самым ртом, тем самым полным ртом, тем самым полным *им* ртом! потому что и *это* правда, потому что *оба* — правда, потому что это одно и то же, я это знаю, но когда я хочу это доказать — у меня чего-то не хватает, ну — как не можешь дотянуться до верхней ветки, потому что вершка не хватает! И мне тогда кажется, что я схожу с ума...)

Марина, кто изобрел глобус? Не знаете? Я тоже ничего не знаю — ни кто глобус, ни кто карты, ни кто часы. — Чему нас в школе учат??! — Благословляю того, кто изобрел глобус (наверное какой-нибудь старик с длинной белой бородой...) — за то, что я могу сразу этими двумя руками обнять весь земной шар — со всеми моими любимыми!

«...Ни кто часы...»

Однажды она у меня на столе играла песочными часами, детскими пятиминутными: стеклянная стопочка в деревянных жердочках с перехватом-талией — и вот, сквозь эту «талию» — тончайшей струечкой — песок — в пятиминутный срок.

— Вот еще пять минуточек прошло... (Потом безмолвие, точно никакой Сонечки в комнате нет, и уже совсем неожиданно, нежданно:) — сейчас будет последняя, после-едняя песчиночка! Все!

Так она играла — долго, нахмурив бровки, вся уйдя в эту струечку. (Я — в нее.) И вдруг — отчаянный вопль: — О, Марина! Я пропустила! Я — вдруг — глубоко — задумалась и не перевернула вовремя и теперь я никогда не буду знать, который час. Потому что — представьте себе, что мы на острове, *кто* нам скажет, *откуда* нам знать?!

— А корабль, Сонечка, приезжающий к нам за кораллами? За коралловым ломом? — Пиратский корабль, где у каждого матроса по трое часов и по шести цепей! Или — проще: с нами после кораблекрушения спасся — кот. А я еще с детства-и-отрочества знаю, что „Les Chinois voient l'heure dans l'oeil des chats." У одного миссионера стали часы, тогда он спросил у китайского мальчика на улице, который час. Мальчик быстро куда-то сбегал, вернулся с огромным котом на руках, поглядел ему в глаза и ответил: — Полдень.

— Да, но я про эту струечку, которая одна знала срок и ждала, чтобы я ее — перевернула. О, Марина, у меня чувство, что я кого-то убила!

— Вы *время* убили, Сонечка:

Который час? его спросили *здесь*,
А он ответил любопытным: — Вечность.

— О, как это чудесно! Что это? Кто этот *он* и это *правда* — было?

— Он, это с ума сшедший поэт Батюшков, и это, правда, было.

Глупо у поэта спрашивать время. Без-дарно. Потому он и сошел с ума — от таких глупых вопросов. Нашли себе часы! *Ему* нужно говорить время, а не у него — спрашивать.

— Не то: он уже был на подозрении безумия и хотели проверить.

— И опозорились, потому что это ответ — гения, чистого духа. А вопрос — студента-медика. Дурака. (Поглаживая указательным пальчиком круглые бока стопочки) ...Но, Марина, представьте себе, что я была бы — Бог... нет, не так: что вместо меня Бог бы держал часы и забыл бы перевернуть. Ну, задумался на секундочку — и — *кончено* время.

... Какая страшная, какая чудная игрушка, Марина. Я бы хотела с ней спать ...

Струечка ... Секундочка ... Все у нее было уменьшительное (*умалительное, умолительное, умилительное ...*), вся речь. Точно ее маленькость передалась ее речи. Были слова, словца в ее словаре — может быть и актерские, актрисинские, но, Боже, до чего это иначе звучало из ее уст! например — манерочка. «Как я люблю вашу Алю; у нее такие особенные манерочки ...»

Манерочка (ведь шаг, *знак* до «маш*е*рочка»)! — нет, не актрисинское, а институтское, и недаром мне все время чудится, ушами слышится: «Когда я училась в институте ...» Не могла гимназия не только дать ей, но не взять у нее этой — старинности, старомодности, этого старинного, век назад, какого-то осьмнадцатого века, девичества, этой насущности обожания и коленопреклонения, этой страсти к несчастной любви.

Институтка, потом — актриса. А может быть институтка, гувернантка и потом — актриса. (Смутно помнятся какие-то чужие дети ...)

— Когда Аля вчера просила еще посидеть, сразу не идти спать, у нее была такая трогательная гримасочка ...

Манерочка ... гримасочка ... секундочка ... струечка ... а сама была ... девочка, которая ведь тоже — уменьшительное.

— Мой отец был скрипач, Марина. *Бедный* скрипач. Он умер в больнице, и я каждый день к нему ходила, ни минуточки от него не отходила, — он только мне одной радовался. Я вообще была его любимицей. (Обманывает меня или нет — память, когда я слышу: придворный скрипач? Но какого двора — придворный? Английского? Русского? Потому что — я забыла сказать — Голлидэй есть английское Holiday — воскресенье, праздник.

Сонечка *Голлидэй:* это имя было к ней привязано — как бубенец!)

— Мои сестры, Марина, красавицы. У меня две сестры и обе красавицы. Высокие, белокурые, голубоглазые — настоящие леди. Это я — такая дурнушка, чернушка...

Почему они не жили вместе? Не знаю. Знаю только, что она непрерывно была озабочена их судьбою — и делом заботилась. — Нужно много денег, Марина, нужно, чтобы у них были *хорошие* платья и обувь, потому что они (с глубоким придыханием восторга) — красавицы. Они высокие, Марина, стройные — это я одна такая маленькая. — И вы, такая маленькая, младшая, должны... — Именно потому, что такая маленькая. Мне, некрасавице, мало нужно, а красавицам — всегда — во всех сказках — много нужно. Не могут же они одеваться — как я!

(Белая блузка, черная юбка или белое платьице — в другом ее не помню.)

Однажды в какой-то столовой (воблиный суп с перловой крупой, второе сама вобла, хлеба не было, Сонечка отдала Але свой) она мне их показала — сидели за столиком, ей с высоты английских шей кивнули (потом она к ним побежала) — голубоглазые, фарфоровые, златоволосые, в белых, с выгибом, великокняжнинских шляпах...

— Гляди, Алечка, видишь — эти две дамы. Это мои сестры. Правда, они — красавицы?

— Вы — лучше.

— Ах ты, дитя мое дорогое! Это *тебе* лучше, потому что ты меня любишь.

— Я потому вас люблю, что вы лучше всех.

Ребенок, обезоруженный ребенком, смолк.

Повинуясь, очевидно, закону сказки — иначе этого, с моей страстью к именам, не объяснишь — я так и не спросила у нее их имен. Так они у меня и остались — сестры. Сестры — Золушки.

Мать помню как Сонечкину *заботу*. Написать маме. Послать маме. Должно быть, осталась в Петербурге, откуда ро-

дом была сама Сонечка. (Недаром ее «Белые ночи».) — Я же знаю, Марина, я сама так ходила, сама так любила... Когда я в первый раз их прочла... Я *никогда* не читала их в первый раз! Только я в «Белых ночах», не только она, но еще и *он*, тот самый мечтатель, так никогда и не выбравшийся из белой ночи... Я ведь всегда двоюсь, Марина, не я — двоюсь, а меня — два, двое: даже в любви к Юре: я — я, и я — еще и он, Юра: все его мысли думаю, еще не сказал — знаю (оттого и не жду ничего!) мне смешно сказать: когда я — он, мне самой лень меня любить...

Только с вами, Марина, я — я, и — еще я.

А верней всего, Марина, я — все, кто белой ночью так любят, и ходят, и бродят... Я сама — белая ночь...)

Обнаружила я ее Петербург сразу, по ее «худо» вместо московского «плохо». — А это очень худо? — Что? — Говорит «худо», — и сама смеется. — Для вашего худа, Сонечка, одна рифма — чудо.

Кто и откуда,
Милое чудо?

Так возникла Розанэтта из моей «Фортуны» (Лозэна), так возникла вся последняя сцена «Фортуны», ибо в этом: — Кто и откуда? — уже весь приказ Розанэтте (Сонечке) быть, Розанэтте, дочке привратника, которая:

...Я за последней волею прислана.
Может, письмо вам угодно оставить родным,
Может быть, локон угодно отрезать на память.
Все, что хотите — просите! Такой уже день:
Все вам позволено нынче!

О, какая это была живая Сонечка, в этом — *все*, говоримом за час перед казнью, в этом часе, даримом и творимом, в этом последнем любовном и последнем жизненном часе, в предсмертном часе, вмещающем *всю* любовь.

В этом — Розанэтта — имени.

(Сонечка! Я бы хотела, чтобы после моей повести в тебя

влюбились — все мужчины, изревновались к тебе — все жены, исстрадались по тебе — все поэты...)

Началась Сонечка в моих тетрадях с её жалобного, в первый приход ко мне, возгласа: — О, Марина! (Эта умница ни разу не назвала меня «Ивановна»), как с «Белыми ночами», сразу — второй (тысячный) раз. — Как я бы вашу Даму в «Метели» — сыграла. Как я знаю каждое движение, каждую интонацию, каждый перерыв голоса, кажду паузу — *каждое* дыхание... Так, Марина, как я бы — ее *никто* не сыграет. Но я не могу — я такая маленькая...

Не ростом, не только ростом — мало ли маленьких! — и маленькость ее была самая обыкновенная — четырнадцатилетней девочки — ее беда и прелесть были в том, что она этой четырнадцатилетней девочкой — *была*. А год был — Девятнадцатый. Сколько раз — и не стыжусь это сказать — я за наш с ней короткий век жалела, что у нее нет старого любящего просвещенного покровителя, который бы ее в своих старых руках держал, как в серебряной оправе... И одновременно бы ею, как опытный штурман, правил... Моей маленькой лодочкой — большого плаванья... Но таких в Москве Девятнадцатого года — не было.

(Знаю, знаю, что своей любовью «эффект» «ослабляю», что читатель хочет сам любить, но я тоже, как читатель, хочу сама любить, я, как Сонечка, хочу «сама любить», как собака — хочу сама любить... Да разве вы еще не поняли, что мой хозяин — умер и что я за тридевять земель и двудевять лет — просто — вою?!)

... Ни малейшего женского кокетства. Задор — мальчишки (при предельно-женственной, девической, девчонческой внешности), лукавство — lutin. Вся что немцы называют „Einfall". (Сонечка, я для тебя три словаря граблю! Жаль, английского не знаю, — там бы я много для тебя нашла. А — в испанском!..)

Ряд видений: Наташа Ростова на цветочной кадке: «Поцелуйте куклу!»... Наташа Ростова, охватив колена, как ин-

дус, как пес, поющая на луну, пением уносимая с подоконника... Огаревская Консуэла, прощающаяся с герценовской Наташей у дилижанса... Козета с куклой и Фантина с Козетой... Все девические видения Диккенса... Джульетта... Мирэй... Миньона, наконец, нет, даже *он:* Mignon, — тот мальчик арфист, потом ставший Миньоной, которого с какой-то своей Wanderung привел домой к матери юноша, ставший — Гёте.

(Знаю, что опять ничего не даю (и много — беру), однажды даже вычеркнула это место из рукописи, но они меня так теснят, обступают, так хотят через Сонечку еще раз — быть...)

Но главное имя — утаиваю. И прозвучит оно только в стихах — или нигде.

И вот, потому что ни одной моей взрослой героиней быть не могла — «такая маленькая» — мне пришлось писать маленьких. Маленьких девочек. Розанэтта в «Фортуне», девчонка в «Приключении», Франческа в «Конце Казановы» — все это Сонечка, она, живая, — не вся, конечно, и попроще, конечно, ибо, по слову Гейне, поэт неблагоприятен для театра и театр неблагоприятен для поэта — но всегда живая, если не вся — она, то всегда — она, никогда: не-она.

А один свой стих я все-таки у нее — украла: у нее, их не писавшей, в жизни не написавшей ни строки, — я, при всей моей безмерной, беспримерной честности — да, украла. Это мой единственный в жизни плагиат.

Однажды она, рассказывая мне о какой-то своей обиде:

— О, Марина! И у меня были такие большие слезы — крупнее глаз!

— А вы знаете, Сонечка, я когда-нибудь это у вас украду в стихи, потому что это совершенно замечательно — по точности и...

— О, берите, Марина! Все, что хотите — берите! Все мое берите в стихи, всю берите! Потому что в *ваших* руках *все* будет жить — вечно! А что от меня останется? Несколько поцелуев...

И вот, три года спустя (может быть, кто знает, день в день) стих:

В час, когда мой милый брат
Миновал последний вяз
(Вздохов мысленных: — Назад!)
Были слезы — больше глаз.

В час, когда мой милый друг
Огибал последний мыс
(Вздохов мысленных: — Вернись!)
Были взмахи — больше рук.

Руки прочь хотят — от плеч!
Губы вслед хотят — заклясть!
Звуки растеряла речь,
Пальцы растеряла пясть.

В час, когда мой милый гость...
— Господи, взгляни на нас! —
Были слезы больше глаз
Человеческих — и звезд
Атлантических...

А атлантические звезды горят над местечком Lacanau-Océan, где я свою Сонечку — пишу, и я, глядя на них вчера, в первом часу ночи, эти строки вспомнила — наоборот: что на океане *звезды* больше глаз! Вот и сошелся круг.)

Эти стихи написаны и посланы Борису Пастернаку, но автор и адресат их — Сонечка.

И последний отблеск, отзвук Сонечки в моих писаниях — когда мы уже давно, давно расстались — в припеве к моему «Молодцу»: — А Маруся лучше всех! (краше всех, жарче всех...) — в самой Марусе, которая, цветком восстав, пережила самое смерть, но и бессмертье свое отдаст, чтобы вместе пропасть — с любимым.

— Марина, вы думаете, меня Бог простит — что я так многих целовала?

— А вы думаете — Бог считал?
— Я — тоже не считала.

... А главное я всегда целую — первая, так же просто, как жму руку, только — неудержимее. Просто никак не могу дождаться! Потом, каждый раз: — Ну, кто тебя тянул? Сама виновата! Я ведь знаю, что это никому не нравится, что все они любят кланяться, клянчить, искать случая, добиваться, охотиться ... А главное — я терпеть не могу, когда другой целует — первый. Так я по крайне мере знаю, что я этого хочу.

— Марина, я никогда не могла понять (и себя не понимаю) как можно — только что целовавшись — говорить молитву. Теми же губами ... Нет, не теми! Я, когда молюсь — никогда не целовалась и когда целуюсь — никогда не молилась.

— Сонечка! Сонечка! От избытка сердца целуют уста *ваши*.

Мы с ней никогда не целовались: только здороваясь и прощаясь. Но я часто обнимала ее за плечи, жестом защиты, охраны,старшинства. (Я была года на три старше, по существу же — на всю себя. Во мне никогда ничего не было от «маленькой».)

Братски обнимала.

Нет, это был сухой огонь, чистое вдохновение, без попытки разрядить, растратить, осуществить. Беда без попытки помочь. Вот об этом мой французский рассказ одному моему французскому другу, пятнадцать лет спустя. Друг прошел, рассказ остался. *Пусть* останется.

— Je ne me souviens pas de l'avoir embrassée hors le baiser usuel, presque machinal du bonjour et de l'adieu. Ce n'était pas de la mauvaise — ou bonne — honte, c'était — mais la même chose qu'avec le tu: je l'amais trop, tout était moins.

Car un baiser, quand on n'aime pas — dit tellement plus, et quand on aime — dit tellement moins, est tellement moins. Boire pour reboire encore. Le baiser en amour c'est l'eau de mer dans la soif. (Eau de mer ou sang — bon pour les naufragés!) Si cela a déjà été dit — je le redis. L'important, ce n'est pas de dire du neuf, c'est de trouver seul et de dire vrai.

J'aimais mieux garder ma soif entière.

Et — une chose qui n'a sûrement, par sa simplicité même, jamais été écrite: le baiser en amour c'est le mauvais chemin menant à l'oubli de l'autre. De l'aimé, non à l'aimé. Commençant par baiser une âme, on continue par baiser une bouche et on finit par baiser — le baiser. Anéantissement.

Mais je l'embrassais souvent de mes bras, fraternellement, protectionnellement, pour la cacher un peu à la vie, au froid, à la nuit. C'était la Révolution, donc pour la femme: vie, froid, nuit.

... Ma petite enfant que je n'ai jamais laissée rentrer seule.

Et simplement je n'y avais jamais pensé — qu'il y avait — ça, cette possibilité entre gens comme nous. (Cette impasse). Ce n'est que maintenant, quinze ans après que j'y pense, pleine de gratitude de n'y avoir alors pas même pensé.

Сонечка жила в кресле. Глубоком, дремучем, зеленом. В огромном зеленом кресле, окружавшем, обступавшем, обнимавшем ее, как лес. Сонечка жила в зеленом кусту кресла. Кресло стояло у окна, на Москва-реке, окруженное пустырями-просторами.

В нем она утешалась от Юры, в нем она читала мои записочки, в нем писала мне свои, в нем учила свои монологи, в нем задумчиво грызла корочку, в нем неожиданно, после всех слез и записочек — засыпала, просыпала в нем всех Юр, и Вахтангов, и Вахтанговых ...

C'était son lit, son nid, sa niche ...

К Сонечке идти было немножко под гору, под шум пло-

тины, мимо косого забора с косее его бревен надписью: «Исправляю почерк» ... (В 1919 году! Точно другой заботы не было! Да еще — такими буквами!)

Стоит дом. В доме — кресло. В кресле — Сонечка. Поджав ноги, как от высящейся воды прилива. (Еще немножко — зальет.) Ножки спрыгивают, ручки — навстречу: — Марина! Какое счастье!

Заботливо разгружает меня от кошелки и черезплечной сумки. Сонечку не нужно убеждать не-сажать меня в кресло: знает твердость моего нрава — и навыков. Сажусь на окно. Подоконник низкий и широкий. За ним — воля. За спиной — воля, перед глазами — любовь.

— Марина! Я нынче была у ранней обедни и опять так плакала (деловито, загибая в ладонь пальчики): — Юра меня не любит, Вахтанг Леванович меня не любит, Евгений Багратионович меня не любит ... А мог бы! хотя бы, как дочь, потому что я — Евгеньевна, — в Студии меня не любят ...

— А — я?!

— О — *вы* Марина, вы меня *всегда* будете любить, не потому что я такая хорошая, а потому что не успеете меня разлюбить ... А Юра — уже успел, потому что я сама не успела ... умереть.

(Любить, любить ... Что она думала, когда все так говорила: любить, любить? ..

Это напоминает мне один мой собственный, тогда же, вопрос солдату бывшего полка Наследника, рассказывавшему, как спасал знамя.

— Что вы чувствовали, когда спасали знамя?

— А — ничего не чувствовал: есть знамя — есть полк, нет знамени — нет полка.

(Есть любовь — есть жизнь, нет любви ...)

Сонечкино любить было — быть: *небытъ* в другом: сбыться).

Сжалась в комочек, маленькая, лица не видно из-за волос, рук, слез, прячется сама в себя — от всего (как владимирская нянька Надя про мою дочь Ирину:) — угнежживается ... А вокруг и над и под — лес, свод, прилив кресла.

По тому, как она в него вгребалась, вжималась, видно было, до чего нужно было, чтобы кто-нибудь держал ее в

сильных широких любящих старших руках. (Ведь кресло — всегда старик.)

По Сонечке в кресле видна была вся любящесть ее натуры. (Натура — слово *ее* словаря, странно-старинного, точно переводного из Диккенса.) Ибо вжималась в него не как кошка в бархат, а как живой в живое.

Поняла: она у него просто сидела на коленях!

Чтобы немножко развлечь ее, отвлечь ее от Юры, рассказываю, насказываю ей, как вчера ходили с Алей пешком на Воробьевы горы, как я, посреди железнодорожного моста, завидев сквозь железные перекладины — воду, от страха — села, как Аля заговаривала моему страху зубы тут же изобретенной историей: как мост тут же раздался, и мы с ней тут же упали в воду, но не потонули, потому что нас в последнюю минуту поддержали ангелы, а поддержали — потому что в последнюю минуту узнали, что «эта дама с солдатской сумкой через плечо» — поэт, а эта девочка с офицерскими пуговицами — ее дочь, и как ангелы на руках отнесли нас на ярмарку, и потом с нами катались на карусели, «Вы, Марина, со своим ангелом на льве, а я со своим на баране . . .», и как потом эти ангелы отнесли нас в Борисоглебский переулок, и остались с нами жить, и топили нам плиту, и воровали нам дрова . . . «потому что эти ангелы были не ангелы, а . . . вы сами, Марина, знаете, *какие* это были ангелы . . .»

И как мы, с Алиной и ангельской помощью действительно перешли мост и действительно катались на карусели: я — на льве, она — на баране . . . и как я ей тут же, за хороший перевод через мост, покупаю на лотке какую-то малиновую желатиновую трясучку, и как она ее истово, наподобие просфоры, ест, и как потом нас перевозят через реку не ангелы, а двое мужиков в красных рубахах, в одном из которых она узнает своего обожаемого Вожатого из «Капитанской дочки» — и так далее — и так далее . . . — до Сонечкиного просветления — потом смеяния — потом сияния . . .

— Марина, я тогда играла в провинции. А летом в провинции — всегда ярмарки. А я до страсти люблю всякое веселье. Бедное. С розовыми петухами и деревянными кузнецами. И сама ходила в платочке. Розовом. Как надела — ну, просто чувство, что в нем родилась. Но у меня во всем это

чувство, от всего: и в косынке и огромной белой шляпе моих сестер... я иногда думаю: хоть корону надень! — но нет, провалится: ведь у меня ужасно маленькая голова: смехотворная — нет, нет, не говорите! Это — *волосы*, а попробуйте меня обрить! Говорю вам *ничего* не останется!.. — Марина, вы бы меня любили бритую? Впрочем, вы уже меня любите — бритую, потому что перед вами всякий — бритый, перед вами даже Юрочка — бритый, нет, полубритый: арестант! — Марина, я страшно много говорю? Неприлично-много, и сразу обо всем, и обо всем — всё сразу? Вы знаете, нет минуты когда бы мне *не* хотелось говорить, даже когда плачу: плачу — навзрыд, а сама говорю. Я и во сне все время говорю: спорю, рассказываю, доказываю, а в общем — как ручей по камням — бессмыслица. Марина! Меня же *никто* не слушает. Только вы. Ах, Марина! Первый человек, которого я любила — он был гораздо старше меня, больше чем вдвое, и у него уже были взрослые дети — за это и любила — и он был *очень* снисходительный, никогда не сердился, даже *он* мне, часто, шутя, с упреком: — Ах, Соня! Неужели вы не понимаете, что есть минуты- когда *не нужно* говорить?

А я — продолжала — не переставала — не переставая говорила — мне всё время всё приходит в голову, всё сразу — и такое разное. Я иногда жалею, что у меня только один голос зараз... Ой, Марина, вот я и договорилась до чревовещателя!

(Да, она «страшно много» говорила. О ней Царицыно любимое слово в тобольских письмах: «Дети болтают, как водопады...»)

...Так — про ту ярмарку. Раз иду в своем платочке и из-под платочка — вижу: громадная женщина, даже баба, бабища в короткой малиновой юбке с блестками под шарманку — танцует. А шарманку вертит — чиновник. Немолодой уже, зеленый, с красным носом, с кокардой. (Нос сам вроде кокарды.) Тут я его страшно пожалела: бедный! должно быть с должности прогнали за пьянство, так он — с голоду... А оказалось, Марина, от любви. Он десять лет тому назад, где-то в своем городе, увидел ее на ярмарке, и она тогда была молоденькая и тоненькая и должно быть страшно трогательная. И он сразу в нее влюбился (а она в него — нет, потому что была уже замужем — за чревовещателем),

и с утра стал пропадать на ярмарке, а когда ярмарка уехала, он тоже уехал, и ездил за ней всюду, и его прогнали с должности, и он стал крутить шарманку, и так десять лет и крутит, и не заметил, что она разжирела — и уже не красивая, а страшная... Мне кажется, если бы он крутить — перестал, он бы сразу все понял — и умер.

Марина, я сделала ужасную вещь: ведь его та женщина ни разу не поцеловала — потому что, если бы она его хоть раз поцеловала, он бы крутить перестал: он ведь этот поцелуй выкручивал! — Марина! я перед всем народом... Подхожу к нему, сердце колотится: — «Не сердитесь, пожалуйста, я знаю вашу историю: как вы все бросили из-за любви, а так как я сама такая же...» — и перед всем народом его поцеловала. В губы.

Вы не думайте, Марина, я себя — заставила, мне очень не хотелось, и неловко, и страшно: и его страшно, и ее страшно, и... просто не хотелось! Но я тут же себе сказала: — Завтра ярмарка уезжает, — раз. Сегодня последний срок, — два. Его никто в жизни не целовал, — три. И уже не поцелует, — четыре. А ты всегда говоритшь, что для тебя выше любви нет ничего, — пять. Докажи, — шесть. И — *есть*, Марина, поцеловала! Это был мой единственный трудный поцелуй за всю жизнь. Но не поцелуй я его, я бы уж никогда не посмела играть Джульетту.

— Ну, а он?

— Он? (С веселым смехом):

Стоит как громом пораженный —
Евгений...

Да я и не смотрела. Пошла не оглядываясь. Должно быть — до сих пор стоит... Десять лет, десять лет пыльных площадей и пьяных мужиков, а поцеловала — все-таки не та!

А вот еще, Марина, история — про моряка Пашу...

Где история про моряка Пашу, о котором у меня в записной книжке весны 1919 г. только запись: «Рассказ Сонечки Голлидэй про моряка Пашу» — а рядом свободный листок для вписания так и не вписанного. Пропал моряк Паша! Заплыл моряк Паша!

О, кресло историй, исповедей, признаний, терзаний, успокоений...

Вторым действующим лицом Сонечкиной комнаты был — сундук, рыжий, кожаный, еще с тех времен, когда Сонечкин отец был придворным музыкантом. — Сонечка, что в нем? — Мое приданое! (Какое — потом узнаем.) Потому что я потом когда-нибудь непременно выйду замуж! По самому серьёзному: с предложением, с отказом, с согласьем, с белым платьем, с флер д'оранжем, с фатою... Я ненавижу венчаться... в штатском! Вот так взять и зайти, только зубы наспех почистив, а потом через месяц объявить: — Мы уже год как женаты. Это без-дарно. Потому что — и смущаться нужно, и чокаться нужно, и шампанское проливать, и я хочу, чтобы меня поздравляли — и чтобы подарки были — а главное — чтобы плакали! О, как я буду плакать, Марина! По моем Юрочке, по Евгению Багратионычу, по Театру, по всему, всему *тому*, потому что тогда уже — кончено: я буду любить только его.

Третьим действующим лицом Сонечкиной комнаты был — порядок. Немыслимый, несбыточный в революции. Точно здесь три горничных работали, сметая и сдувая. Ни пылинки, ни соринки, ничего сдвинутого. Ни одной (моей или Юриной) записочки. Или все — под подушкой! Это была комната институтки на каникулах, гувернантки на кондициях, комната — сто, нет — двести лет назад. Или еще проще — матросская каюта: порядок, не как отсутствие, а как присутствие. В этой комнате живет порядок. Так гардемарин стоит на вытяжку.

И никто на нее не работал. Марьюшка весь день стояла по очередям за воблой и постным маслом (и еще одной вещью, о которой — потом!) А вернувшись, эту воблу — об стенку — била. Все — Сонечка, самолично, саморучно.

Поэтому меня особенно умиляла ее дружба со мною, ее искреннее восхищение моим странным и даже страшным домом — где все было сдвинуто — раз навсегда, то есть непрерывно и неостановимо сдвигалось, все дальше и дальше — пока не уходило за пределы стен: в подарок? в покражу? в продажу?

Но прибавлю, что всем детям, особенно из хороших домов, всегда нравился мой дом (все тот же по нынешний день), его безмерная свобода и... сюрпризность: вот уже boîte à surprises, с возникающими из-под ног чудесами — гигантская

boîte, с бездной вместо дна, неустанно подающей все новые и новые предметы, зачастую — sans nom . . .

Сонечке мой дом *детски* нравился, как четырнадцатилетнему ребенку, которым она была.

Чтобы совсем все сказать о моем доме: мой дом был — диккенсовский: из «Лавки древностей», где спали на сваях, а немножко из «Оливера Твиста» — на мешках, Сонечка же сама — вся — была из Диккенса: и Крошка Доррит — в долговой тюрьме, и Копперфильдова Дора со счетной книгой и с собачьей пагодой, и Флоренса, с Домби-братом на руках, и та странная девочка из «Общего друга», зазывающая старика еврея на крышу — *небыть:* — Montez! Montez! Soyez mort! Soyez mort! — и та, из «Двух городов», под раздуваемой грозой кисеею играющая на клавесине и в стуке первых капель ливня слышащая топот толп Революции . . .

Диккенсовские девочки — все — были. Потому что я встретила Сонечку.

Сонечкина любовь к моему дому был голос крови: атавизм.

(Диккенс в транскрипции раннего Достоевского, когда Достоевский был еще и Гоголем: вот моя Сонечка. У «Белых ночей» — три автора. Мою Сонечку писали — три автора.

Как ей было не *суметь* — Белых Ночей?!)

Приходила я к ней всегда утром, — заходила, забегала одна, без детей. Поэтому ее комнату помню всегда в сиянии — точно ночи у этой комнаты не было. Золото солнца на зелени кресла и зелень кресла в темном золоте паркета.

— Ах, Сонечка, взять бы вас вместе с креслом и перенести — в другую жизнь. Опустить, так с него и не сняв, посреди Осьмнадцатого века — вашего века, когда от женщины не требовали мужских принципов, а довольствовались — женскими добродетелями, не требовали идей, а радовались — чувствам, и во всяком случае — радовались по-

целуям, которыми вы в Девятнадцатом году всех только пугаете.

Чтобы с вашего кресла свешивались не эти вот две квадратных железных необходимости, а — туфельки, и чтобы ступали они не по московскому булыжнику, а — вовсе не ступали, чтобы их подошвы были — как у еще не ходивших детей.

Ибо вы — (все искала вам подходящего слова — драгоценность? сокровище? joyau? bijou?) — Kleinod! и никто этого в Москве Девятнадцатого Года — не видит, кроме меня, которая для вас — ничего не может.

— Ах, Марина! Мне так стыдно было перед ним своих низких квадратных тупоносых ног!

Перед «ним» — на этот раз не перед Юрой. Сонечка в мою жизнь вошла вместе с моим огромным горем: смертью Алексея Александровича Стаховича, в первые дни его посмертья. Кто для меня был Алексей Александрович Стахович — я уже где-то когда-то рассказывала, здесь дам только свои неизданные стихи к нему:

Хоть сто мозолей — трех веков не скроешь!
Рук не исправишь — топором рубя!
О, сокровеннейшее из сокровищ:
Порода! — узнаю тебя.

Как ни коптись над черной сковородкой —
Все вкруг тебя твоих Версалей — тишь.
Нет, самою косой косовороткой
Ты шеи не укоротишь!

Над снежной грудой иль над трубной сажей
Дугой согбен — все ж *гордая* спина!
Не окриком, — все той же барской блажью
Тебе работа задана.

Выменивай по нищему Арбату
Дрянную сельдь на пачку папирос —
Все равенство нарушит — нос горбатый:
Ты — горбонос, а он — курнос.

Но если вдруг, утомлено получкой,
Тебе дитя цветок протянет — в дань,
Ты так же поцелуешь эту ручку,
Как некогда — царицы длань.

(Один из слушателей, тогда же: — Что это значит: утомлено получкой? — Когда человек, продавщик, устает получать. (Непонимающие глаза.) Устает получать деньги, ну — продавать устает. — Разве это бывает? (Я, резво:) — Еще как. Вот с Львом Толстым случилось: устал получать доходы с Ясной Поляны и за сочинения гр. Л. Н. Толстого — и вышел в поле. — Но это — исключительный случай, гений, у вас же рэчь (мой собеседник — поляк) о «дитя». — Мое дитя — женщина, а получать ведь вопрос терпенья, а женщины еще более терпеливы, чем гении. Вот мое «дитя» сразу и подарило розу Стаховичу . . .:

Второе:

Не от запертых на семь замков пекарен
И не от заледенелых печек —
Барским шагом, распрямляя плечи,
Ты сошел в могилу, русский барин.

Старый мир пылал — судьба свершалась.
— Дворянин, дорогу — дровосеку!
Чернь цвела, а вблизь тебя дышалось
Воздухом Осьмнадцатого века.

И пока, с дворцов срывая крыши,
Чернь рвалась к добыче вожделенной —
Вы „bon ton, maintien, tenue“ мальчишек
Обучали — под разгром вселенной.

Вы не вышли к черни с хлебом-солью,
И скрестились — от дворянской скуки! —
В черном царстве трудовых мозолей —
Ваши восхитительные руки.

(Не мне презирать мозоли — тогда бы я должна была презирать себя первую — но *тогда* эти мозоли были в любовь навязаны и вменены в обязанность. Отсюда и ненависть.)

Прибавлю еще, что Сонечка со Стаховичем были в одной студии — Второй, где шли и Сонечкины «Белые ночи» с единственным действующим лицом — Сонечкой, и «Зеленое кольцо» с единственным действующим лицом — Стаховичем (кольцо — молодежь).

Вот об этих-то leçons „bon ton, maintien, tenue" Сонечка мне и рассказывала, говоря о своих тупоносых башмаках.

— Это был такой стыд, Марина! Каждый раз сгорала! Он, например, объясняет, как женщине нужно кланяться, подавать руку, отпускать человека или, наоборот, принимать.

— Поняли? Ну, пусть кто-нибудь покажет. Никто не может? Ну, вы — Голлидэй, Соня.

И выхожу, Марина, сгорая со стыда за свои грубые низкие ужасные башмаки с бычьими мордами. В таких башмаках проходить через весь зал — перед ним, танцевавшим на всех придворных балах мира, привыкшим к таким уж туфелькам... ножкам...

О ножки, ножки, где вы ныне,
Где мнете вешние цветы?

Но выхожу, Марина, потому что другому — некому, потому что другие — еще хуже, не хуже одеты, а... ну, еще меньше умеют... дать руку, отпустить гостя. О, как я бы

все это умела, Марина — если бы не башмаки! Как я все это глубоко, глубоко, отродясь все умею, знаю! Как все — сразу — узнаю!

И он всегда меня хвалил, — может быть, чтобы утешить меня в этих ужасных башмаках? — «Так, так, именно — так...» и никогда на них не смотрел, точно и не видел, как они меня — *жгут*. И я не глядела, я ведь только *до* боялась, до того, как он скажет: — Ну, вы — Голлидэй, Соня! — А когда уже сказал — кончено, я свободно шла, я о них и не думала — о, Марина! я до них не снисходила.

Но он их — отлично замечал, потому что, когда однажды одна наша ученица пожаловалась, что не умеет, «потому что башмаки тяжелые» — «Какова бы ни была обувь — остается поступь. Посмотрите на Софью Евгеньевну: кто скажет, что у нее на каждой ножке — по пуду железа, как у узника Бонивара?»

— Сонечка, а знаете ли вы сказку о маленькой Русалочке?

— Которая танцевала на ножах? Но ведь это в тысячу раз легче, чем на утюгах! Потому что это именно утюги... битюги... Это моя самая любимая сказка, Марина! Всякий раз, когда я ее читаю, я чувствую себя — ею. Как ей хотелось всплыть — и как всплыла, и увидела верхний мир, и того мраморного мальчика, который оказался мертвым... и принцем, и как потом его оживила — и онемела — и как потом немая танцевала перед ним на ножах... О, Марина, ведь это высшее блаженство — так любить, так любить... Я бы душу отдала — чтобы душу отдать!

Ах, Марина! Как я люблю — любить! Как я безумно люблю — сама любить! С утра, нет, до утра, в то самое до-утро — еще спать и уже знать, что опять... Вы когда-нибудь забываете, когда любите — что любите? Я — никогда. Это как зубная боль — только наоборот, наоборотная зубная боль, только там ноет, а здесь — и слова нет. (Подумав: поёт?) Ну, как сахар обратное соли, но той же силы. Ах, Марина! Марина! Марина! Какие они дикие дураки. (Я, все же изумленная: — Кто?) — Да те, кто *не* любят, сами не любят, точно в том дело, чтобы *тебя* любили. Я не говорю... конечно... — устаешь — как в стену. Но вы знаете, Марина (таинственно), нет такой стены, которую бы я *не* пробила! Ведь

и Юрочка... минуточками... у него *почти* любящие глаза! Но у него — у меня такое чувство — нет сил сказать это, ему легче гору поднять, чем сказать это слово. Потому что ему нечем его поддержать, а у меня за горою — еще гора, и еще гора, и еще гора... — целые Гималаи любви, Марина! Вы замечаете, Марина, как все они, даже самые целующие, даже самые как будто любящие, боятся сказать это слово, как они его *никогда* не говорят?! Мне один объяснял, что это... грубо... (фыркает)... отстало, что: зачем слова, когда — дела? (то есть поцелуи и так далее). А я ему — «Э-э! нет! Дело еще ничего не доказывает, а слово — всё». Мне ведь только этого от человека нужно: лю-блю, и больше ничего, пусть потом что угодно делают, как угодно нелюбят, я делам не поверю, потому что слово — было. Я только этим словом кормилась, Марина, потому так и отощала.

О, какие они скупые, расчетливые, опасливые, Марина! Мне всегда хочется сказать: — Ты только — скажи. Я проверять — *не* буду. Но не говорят, потому что думают, что это — жениться, связаться, не развязаться. Если я первым скажу, то никогда уже первым не смогу уйти. (Они и вторым не говорят, Марина, никоторым.) Точно со мной можно *не*-первому уйти!

Марина! Я — в жизни! — не уходила первая. И в жизни — сколько мне ее еще Бог отпустит — первая не уйду. Я просто *не могу*. Я всегда жду, чтобы другой ушел, все делаю, чтобы другой ушел, потому что *мне* первой уйти — легче перейти через собственный труп. (Какое страшное слово. Совсем мертвое. Ах, поняла: это тот мертвый, которого никто никогда не любил. Но для меня и такого мертвого нет, Марина!) Я и внутри себя никогда не уходила первая. Никогда первая не переставала любить. Всегда — до последней возможности, до самой последней капельки — как когда в детстве пьешь. И уж жарко от пустого стакана — а все еще тянешь, и только собственный пар!

Ах, знаете, вы будете смеяться — это была совсем короткая встреча — в одном турне — неважно, кто — совсем молодой — и я безумно в него влюбилась, потому что он все вечера садился в первый ряд — и *бедно* одетый, Марина! не по деньгам садился, а по глазам, и на третий вечер так на меня смотрел, что — либо глаза выскочат, либо сам — вско-

чит на сцену. (Говорю, двигаюсь, а сама все кошусь: ну, как? нет, еще сидит.) Только это нужно понять! Потому что это не был обычный влюбленный мужской *едящий* взгляд (он был почти мальчик) — это был пьющий взгляд, Марина, он глядел как завороженный, точно я его каждым словом и движением — как на нитке — как на канате — притягиваю, наматываю — это чувство должны знать русалки — и еще скрипачи, верней смычки — и реки . . . И пожары, Марина! . . Что вот-вот вскочит в меня — как в костер. Я просто не знаю, как доиграла. Потому что *у меня*, Марина, все время было чувство, что в него, в эти глаза — оступлюсь.

И когда я с ним, наконец, за кулисами (знаю, что это ужасная пошлость, но *всё* пошлость, как только оно *где*, и *ска́лы*, на которых сидели *девы* д'Аннунцио — ничуть не лучше!) . . . за этими несчастными кулисами поцеловалась, я ничего не чувствовала, кроме одного: спасена!

. . . Это длилось страшно коротко. Говорить нам было не о чем. Сначала я все говорила, говорила, говорила, а потом — замолчала. Потому что нельзя, я — не могу, чтобы в ответ на мои слова — только глаза, только поцелуи! И вот лежу утром, до-утром, еще сплю, уже не сплю, и вдруг замечаю, что все время что-то повторяю, да, — губами, словами . . . Вслушалась — и знаете, что это было: — *Еще* понравься! Еще чуточку, минуточку, секундочку понравься! — Ну, и? — Нет. Он *не* смог. — Чего? — Еще-понравиться. Не смог бы — даже если бы услышал. Потому что вы не думайте: я не его, спящего, просила — мы жили в разных местах, и вообще . . . — я в воздух просила, может быть — Бога просила, я просто заклинала, Марина, я сама себя заклинала, чтобы еще немножко вытянуть. — Ну, и? (с сияющими глазами:) Вытянула. Он — не смог, я — смогла. Никогда не узнал. Все честь честью. И строгий отец генерал в Москве, который даже не знает, что я играю: я будто бы у подруги (а то вдруг вслед поедет, ламповщиком сделается?) — и никогда не забуду (*это* не наврала), и когда уже поезд трогался — потому что я на-людях никогда не целуюсь — поцеловала *его* розы в окне . . . Потому что, Марина, любовь —любовью, а справедливость — справедливостью. Он не виноват, что он мне больше не нравится. Это не вина, а беда.

Не *его* вина, а *моя* беда: бездарность. Все равно, что разбить сервиз и злиться, что не железный.

А пьеса — когда мы так друг в друга влюбились — была Юрия Слезкина. Смешное имя? Как раз для меня. Мне даже наш антрепренер сказал: — Маленькая Сонечка, вы все плачете, вот бы вам замуж за Юрия Слезкина. (Деловито:) — А он, вы не знаете, Марина, — старик?

(Знаю, что разбиваю единство повествования, но честь — выше художества.

Это «еще понравься!» — мой второй плагиат.

Как та чахоточная, что в ночь
Стонала: еще понравься!

И, дальше:

Как та чахоточная, что всех
Просила: *еще* немножко
Понравься!..

И — конец:

Как та с матросом — с тобой, о жизнь
Торгуюсь: *еще* минутку
Понравься!..

Так, в постепенности, даже и сохранена, пронесена сквозь стихи и допроизнесена вся Сонечкина просьба. Ибо, будь Сонечка старше, она бы именно так — кончила.)

— Ну, Сонечка, дальше про Стаховича. Кроме поклонов о чем еще были эти уроки?

— Обо всем. Например — как надо причесываться. — Женская прическа должна давать — сохранять — охранять форму головы. Никаких надстроек, волосы должны только — и *точно* — обрамлять лица, чтобы лицо оставалось главным. Прямой пробор и гладкие зачесы назад, наполовину

прикрывающие ухо: как у вас — Голлидэй, Соня. — Алексей Александрович! А ведь у меня... не очень гладко! я, смеясь. — Да, но это — природные завитки, потому что у вас природная волна, и *рама* остается, только — немножко — рококо... Я говорю об общей линии: она у вас проста и прекрасна, просто — прекрасна. (О, Марина, как я в эти минуты гордилась! Потому что я чувствовала: он меня не только из тех, что перед ним, а из всех, что *за ним* — выделяет!)... Еще о том, как себя вести, когда, например, на улице падает чулок или что-нибудь развяжется: — С кем бы вы ни шли — спокойно отойти и не торопясь, без всякой суеты, поправить, исправить непорядок... Ничего не рвать, ничего не торопить, даже не особенно прятаться: спо-койно, спокойно... Покажите вы, Голлидэй! Мы идем с вами вместе по Арбату и вы чувствуете, что у вас спускается чулок, что еще три шага и совсем упадет... Что вы делаете?

И — показываю. Отхожу от него немножко вбок, нагибаюсь, нащупываю резинку и спо-койно, спо-койно...

— Браво, браво — Голлидэй, Соня! Если вы, действительно, с *любым* спутником, а не только со мной (и у него тут такая чудесно-жалкая, насмешливая улыбка, Марина!)... старым учителем... сохраните такое хладнокровие...

Однажды я не удержалась, спросила: — Алексей Александрович, откуда вы все это знаете: про падающие чулки, тесемки, наши чувства, головы?.. Откуда вы нас так знаете — с головы до ног? И он, серьёзно (ровно настолько серьёзно, чтобы все поверили, а я — нет): — Что я все знаю — неудивительно; я старый человек, а вот откуда у вас, маленькой девочки, такие вопросы? Но всегда, всегда я показывала, всегда на мне показывали, на других, как *не* надо, на мне — как надо, меня мальчишки так и звали: Стахович показ.

— А девчонки — завидовали?

Она, торжествующе: — Лопались!! Это ведь была такая честь! Его все у нас страшно любили, и если бы вы знали, какие у нас матрешки. И вдобавок нахальные, напыженные! И — в каких локонах! (фыркает). — У *них* настоящие туфли, дамские.

— Но почему вы, Сонечка, неужели вы так мало зарабатываете?

Она, кротко: — У других мужья, Марина. У кого по одному, а у кого и по два. А у меня — только Юра. И мама. И две сестры. Они ведь у меня . . .

— Красавицы. Знаю и видела. А вы — Золушка, которая должна золу золить, пока другие танцуют. Но актриса-то — вы.

— А зато они — старшие. Нет, Марина, после папиной смерти я сразу поняла — и решила.

А *их* (показывает ножку) я все-таки ненавижу. Сколько они мне вначале слез стоили! Никак не могла привыкнуть.

Марина! Это было ужасно. Он впервые пришел в Художественный театр после тифа — и его никто не узнал. Просто — проходили и не узнавали, так он изменился, постарел. Потом он сказал одному нашему студийцу: — Я никому не нужный старик . . .

. . . А как он пел, Марина! Какой у него был чудесный голос!

(Сидим наверху в нашей пустынной деревянной кухне, дети спят, луна . . .)

— Да, то был вальс — старинный томный . . .
Да, то был див-ный
(обрывая, как ставят точку)
— вальс!

Когда бы мо-лод был,
Как бы я Вас лю-бил!

— Алексей Александрович! Это — уж вы сами! Этого в песне нет! — мы ему, смеясь.

— В моей — есть.

Почему вы, Алексей Александрович, — женщинам — и жемчужинам — и душам — знавший цену, в мою Сонечку не влюбились, не полюбили ее пуще души? Ведь и вокруг

нее дышалось «воздухом осьмнадцатого века». *Чего* вам не хватило, чтобы пережить то страшное марта? Без *чего* вы не вынесли — еще одного часа?

А она была рядом — живая, прелестная, готовая любить и умереть за вас — и умирающая без любви.

Вы, может быть, думали: у нее свои молодые... Видала я их! Да и вы — видали.

Как вы могли ее оставить — всем, каждому, любому из тех мальчишек, которых вы так бесплодно обучали „bon ton, maintien, tenue"...

Был, впрочем, один среди них... Но о нем речь — впереди.

В театре ее не любили: ее — обносили. Я часто жаловалась на это моему другу Вахтангу Левановичу Мчеделову (ее режиссеру, который Сонечку для Москвы и открыл).

— Марина Ивановна, вы не думайте: она очень трудна. Она не то, что капризна, а как-то неучтима. Никогда не знаешь, как она встретит замечание. И иногда — неуместно смешлива (сам был — глубоким меланхоликом) — ей говоришь, а она смотрит в глаза — и смеется. Да так смеется — что сам улыбнешься. И уроку — конец. И престижу — конец. Как с этим быть? И — не честолюбива, о, совсем нет, но — властолюбива, самовластна: *она* знает, что нужно — так, и — никаких.

— А может быть она действительно знает, и действительно нужно — так?

— Но тогда ей нужен свой театр, у нас же — студия, совместная работа, ряд попыток... Мы вместе добиваемся.

— А если она уже отродясь добилась?

— Гм... В «Белых ночах» — да. Она вообще актриса на самое себя: на свой рост, на свой голос, на свой смех, на свои слезы, на свои косы... Она *исключительно* одарена, но я все еще не знаю, одаренность ли это — актерская — или человеческая — или женская... Она — вся — слишком исключительна, слишком — исключение, ее нельзя употреблять в ансамбле: только ее и видно!

— Давайте ей главные роли!

— Это всегда делать невозможно. Да она и не для всякой роли годится — по чисто-внешним причинам — такая маленькая. Для нее нужно бы специально — ставить: ставить ее среди сцены — и все тут. Как в «Белых ночах». Все знает, все хочет и все *может* — сама. Что тут делать режиссеру? (Я, мысленно: — Склониться.) И, кроме того, мы же студия, есть элементарная справедливость, нужно дать показать себя — другим. Это актриса Западного театра, а не русского. Для нее бы нужно писать отдельные пьесы . . .

— Вахтанг Леванович, у вас в руках — чудо.

— Но что мне делать, когда *не это* — нужно?

— Не нужно самому — отдайте в хорошие руки!

— Но — где они?

— А я вам скажу: из вашего же обвинительного акта — скажу: эти руки — в Осьмнадцатом веке, руки молодого англичанина-меланхолика и мецената — руки, на которых бы он ее носил — в те часы когда бы не стоял перед ней на коленях. Чего ей не хватает? Только двух веков назад и двух любящих, могущих рук — и только собственного розового театра — раковины. Разве вы не видите, что это — дитя-актриса, актриса в золотой карете, актриса-птица. Malibran, Аделина Патти, oiseau-mouche, а совсем не студийка вашей второй или третьей студии? Что ее *обожать* нужно, а не *обижать*?

— Да ее никто и не обижает — сама обидит! Вы не знаете, какая она зубастая, ежистая, неудобная, непортативная какая-то . . . Может быть — прекрасная душа, но — ужасный характер. Марина Ивановна, не сердитесь, но вы все-таки ее — не знаете, вы ее знаете поэтически, человечески, у себя, с собой, а есть профессиональная жизнь, товарищеская. Я не скажу, чтобы она была плохим товарищем, она просто-никакой товарищ, сама по себе. Знаете станиславское «вхождение в круг»? Так наша с вами Сонечка — сплошное выхождение из круга. Или, что то же — сплошной центр.

И — удивительно злой язык! А чуть над ней пошутить — плачет. Плачет и тут же — что-нибудь такое уж ядовитое . . . Иногда не знаешь: ребенок? женщина? черт? Потому что она может быть настоящим чертом!

(На секундочку меня озарило: так о нелюбимых не говорят! так говорят о любимых: о тщетно, о прежде любимых! Но никто о ней не говорил — иначе, и во всех она осталась — загвоздкой: нелюбили — с загвоздкой.)

— Марина! У меня сегодня ужасное горе!

— Опять наш с вами ангел?

— Нет, на этот раз не он, а как раз наоборот! У нас решили ставить «Четыре черта» и мне не дали ни одного, даже четвертого! даже самого маленького! самого пятого!

Тут-то она и сказала свое незабвенное: — И у меня были такие большие слезы — крупнее глаз!)

Да, ее считали злой. Не высказывали мне этого прямо, потому что меня считали — еще злей, но в ответ на мое умиление ее добротой — молчали — или мычали. Я никогда не видела более простой, явной, вопиющей доброты всего существа. Она все отдавала, все понимала, всех жалела. А — «злоба»? — как у нас с Ходасевичем, иногда только вопрос, верней ответ, еще верней рипост языковой одаренности, языковая *сдача*. Либо рипост — кошачьей лапы.

Petite fille modèle — et Bon petit Diable. Toute ma petite Сонечка — immense — tenue dans la C-tesse de Ségur. On n'est pas compatriotes pour rien!

(Графиня де Сегюр — большая писательница, имевшая глупость вообразить себя бабушкой и писать только для детей. Прошу обратить внимание на ее сказки „Nouveaux Contes de Fées" (Bibliothèque Rose) — лучшее и наименее известное из всего ею написанного — сказки совершенно-исключительные, потому что совершенно единоличные (без ни единого заимствования — хотя бы из народных сказок. Сказки, которым я верна уже четвертый десяток, сказки, которые я уже здесь в Париже четырежды дарила и трижды сохра-

нила, ибо увидеть их в витрине для меня — неизбежно — купить).

Два завершительных слова о Вахтанге Левановиче Мчеделове — чтобы не было несправедливости. Он глубоко любил стихи и был мне настоящим другом и настоящей человечности человеком, и я бесконечно предпочитала его блистательному Вахтангову (Сонечкиному «Евгению Багратионычу»), от которого на меня веяло и даже дуло — холодом головы: того, что обыватель называет «фантазией». Холодом и бесплодием самого слова «фантазия». (Театрально я, может быть ошибаюсь, человечески — нет.) И если Вахтанг Леванович чего-нибудь для моей Сонечки не смог, то потому что это *что* было *все*, то есть полное его самоуничтожение, всеуничтожение, небытие, любовь. То есть, общественно, вопиющая несправедливость. Вахтанг Леванович бесспорно был лучше меня, но я Сонечку любила больше. Вахтанг Леванович больше любил Театр, я больше любила Сонечку. А почему не дал ей «хотя бы самого маленького, самого пятого» — да может быть и черти то были не настоящие, а аллегорические, то есть не черти вовсе? (Сомнительно, чтобы на сцене четыре действия сряду — четыре хвостатых.) Я этой пьесы не знаю, мнится мне — из циркового романа Германа Банга «Четыре черта». Мне только было обидно за *слово*. И — слезы.

Нет, мою Сонечку не любили. Женщины — за красоту, мужчины — за ум, актеры (mâles et femelles) — за дар, и те, и другие, и третьи — за особость: опасность особости.

Toutes les femmes la trouvent laide,
Mais tous les hommes en sont fous...

Первое — да (то есть в стихах как раз наоборот), второе — нет. Ее в самый расцвет ее красоты и дара и жара — ни один не любил, отзывались о ней с усмешкой... и опаской.

Для мужчин она была опасный... ребенок. Существо, а не женщина. Они не знали, как с ней... Не умели... (Ум у Сонечки никогда не ложился спать. «Спи, глазок, спи, другой...», а третий — не спал.) Они все боялись, что она (когда слезами плачет!) над ними — смеется. Когда я вспоминаю, *кого* моей Сонечке предпочитали, какую фальшь, какую подделку, какую лжеженственность — от лже-Беатрич до лже-Кармен (не забудем, что мы в самом сердце фальши: театре).

К слову сказать, она гораздо больше была испаночка, чем англичаночка и если я сказала, что в ней ничего не было национального, то чтобы оберечь ее от первого в ее случае — напрашивающегося — малороссийского-национального, самого типичного-национального. Испански же женское лицо — самое ненациональное из национальных, представляющее наибольший простор для человеческого лица в его общности и единственности: от портрета — до аллегории, испанское женское лицо есть человеческое женское лицо во всех его возможностях страдания и страсти, есть — Сонечкино лицо.

Только — географическая испаночка, не оперная. Уличная испаночка, работница на сигарной фабрике. Заверти ее волчком посреди севильской площади — и станет — своя. Недаром я тогда же, ни о чем этом не думая, о чем сейчас пишу, сгоряча и сразу назвала ее в одних из первых стихов к ней: — Маленькая сигарера! И даже — ближе: Консуэла — или Кончита — Конча. Concha, — ведь это почти что Сонечка! — О, да, Марина! Ой нет, Марина! Конча, — ведь это; сейчас кончится, только еще короче!

И недаром первое, что я о ней услышала — Инфанта. (От инфанты до сигареры — испанское женское лицо есть самое а-классовое лицо.)

Теперь, когда к нам Испания ближе, Испания придвинулась, а лже-Испания отодвинулась, когда каждый день видим мертвые и живые женские и детские лица, мы и на Сонечкино можем напасть: только искать надо — среди четырнадцатилетних. С поправкой — неповторимости.

Еще одно скажу: такие личики иногда расцветают в мещанстве. В русском мещанстве. Расцветало в русском ме-

щанстве — в тургеневские времена. (Весь последний Тургенев — под их ударом.) Кисейная занавеска и за ней — огромные черные глаза. («В кого уродилась? Вся родня — белая».) Такие личики бывали у младших сестер — седьмая после шести, последней. «У почтмейстера шесть дочерей, седьмая — красавица...»

На слободках... На задворках... На окраинах... Там, где концы с концами — расходятся.

Этому личику шли бы — сережки.

И еще — орешки. Сонечка до страсти любила орехи и больше всего, из всего продовольственно-выбывшего, скучала по ним. И в ее смехе, и в зубах, и в самой речи было что-то от разгрызаемых и раскатывающихся орехов, точно целые белкины закрома покатились. — «Такие зеленые и если зубами — кислые, это самое кислое, что есть: кислей лимона! кислей зеленого яблока! И вдруг — сам орех: кремовый, снизу чуть загорелый, и скок! пополам, точно ножом разрезали — ядро! такое круглое, такое крепкое, это самое крепкое, что есть! две половинки: одна — вам, другая — мне. Но я не только лесные люблю (а их брать, Марина! когда наверху — целая гроздь, и еще, и еще, и никак не можешь дотянуться, гнешь, гнешь ветку и — вдруг! — вырвалась, и опять вверху качается — в синеве — такой синей, что глаза горят! такие зеленые, что глаза болят! Ведь они — как звезды, Марина! Шелуха — как лучи!)... я и городские люблю, и грецкие, и американские, и кедровые — такие чудные негрские малютки!.. целый мешок! и читать «Войну и мир», я Мир — люблю, Марина, а Войну — нет, всегда — нечаянно — целые страницы пропускаю... Потому что это мужское, Марина, не наше...»

...От раскатываемых орехов, и от ручья по камням — и струек по камням и камней под струйками — и от лепета листвы («ветер листья на березе перелистывает»...), и от тихо сжимаемых в горсть жемчугов — и от зеленоватых ландышевых — и даже от слез градом! — всем, что в природе есть круглого и движущегося, всем, что в природе сме-

ется, чем природа смеется — смеялась Сонечка, но, так как всем сразу: и листвою, и водою, и горошинами, и орешинами, и еще — белыми зубами и черными глазами, то получалось несравненно богаче, чем в природе . . .
. . . — словом:

Все бы я слушал этот лепет,
Все б эти ножки целовал . . .

Мужчины ее не любили. Женщины — тоже. *Дети* любили. Старики. Слуги. Животные. Совсем юные девушки.

Все, все ей было дано, чтобы быть без ума, без души, на коленях — любимой: и дар, и жар, и красота, и ум, и неизъяснимая прелесть, и безымянная слава — лучше имени («та, что — «Белые ночи» . . .») и все это в ее руках было — прах, потому что она хотела — сама любить. Сама любила.

На Сонечку нужен был поэт. Большой поэт, то есть: такой же большой человек, как поэт. Такого она не встретила. А, может, один из первых двухсот добровольцев в Новочеркасске 18-го года. Любой из двухсот. Но их в Москве Девятнадцатого года — не было. Их уже — нигде не было.

— О, Марина! Как я их любила! Как я о них тогда плакала! Как за них молилась! Вы знаете, Марина, когда я люблю — я ничего не боюсь, земли под собой не чувствую! Мне все: — Куда ты! убьют! там — самая пальба!

И я каждый день к ним приходила, приносила им обед в корзиночке, потому что, ведь, есть — надо?

И сквозь всех красногвардейцев проходила. — Ты куда идешь, красавица? — Больной маме обед несу, она у меня за Москва-рекой осталась. — Знаем мы эту больную маму! С усами и с бородой! — Ой, нет, я усатых-бородатых не люблю: усатый — кот, а бородатый — козел! Я, *правда*, к маме! (И уже плачу.) — Ну ежели правда — к маме, проходи, про-

ходи, да только в оба гляди, а то неровен час — убьют, наша, что ли, али юнкерская пуля — и останется старая мама без обеду.

Я всегда с особенным чувством гляжу на Храм Христа Спасителя, ведь я *туда* им обед носила, моим голубчикам.

— Марина! Я иногда ужасно вру́! И сама — верю. Вот вчера, я в очереди стояла, разговорились мы с одним солдатом — хорошим: того же ждет, что и мы — сначала о ценах, потом о более важном, сериозном (*Ее* произношение.) — Какая вы, барышня, молоденькая будете, а разумная. Обо всем-то знаете, обо всем *правду* знаете... — Да я и не барышня совсем! Мой муж идет с Колчаком! И рассказываю, и насказываю, и сама слезами плачу — оттого что я его так люблю и за него боюсь — и оттого что я знаю, что он не дойдет до Москвы — оттого что у меня *нет* мужа, который идет с Колчаком...

Сонечка обожала моих детей: шестилетнюю Алю и двухлетнюю Ирину. Первое, как войдет — сразу вынет Ирину из ее решетчатой кровати.

— Ну как, моя девочка? Узнала свою Галлиду? Как это ты про меня поешь? Галли-да, Галли-да! Да?

Ирину на колени, Алю под крыло — правую, свободную от Ирины руку. (—« Я *всегда* ношу детей на левой, вы тоже? Чтобы правой защищать. И — обнимать».) Так и вижу их втроем: застывшую в недвижном блаженстве группу трех голов: Иринину, крутолобую, чуть было не сказала — круторогую, с крутыми крупными бараньими ярко-золотистыми завитками над выступами лба, Алину, бледно-золотую, куполком, рыцаренка, и между ними — Сонечкину, гладко-вьющуюся, каштановую, то застывшую в блаженстве совершенного объятья, то ныряющую — от одной к другой. И — смешно — взрослая Сонечкина казалась только не на много больше этих детских:

Мать, что тебя породила,
Раннею розой была:
Она лепесток обронила —
Когда тебя родила...

(Только когда я вспоминаю Сонечку, я понимаю все эти сравнения женщины с цветами, глаз с звездами, губ с лепестками и так далее — вглубь времен.

Не понимаю, а заново создаю.)

...Так они у меня и остались — группой. Точно это тогда уже был — снимок.

Когда же Ирина спала и Сонечка сидела с уже-Алей на коленях, это было совершенное видение Флоренсы с Домби-братом: Диккенс бы обмер, увидев обеих!

Сонечка с моими детьми была самое совершенное видение материнства, девического материнства, материнского девичества: девушки, нет — девочки-Богородицы:

Над первенцом — Богородицы:
Да это ж — не переводится!

— Ну, теперь довольно про Галлиду, а то я зазнаюсь! Теперь Ай ду-ду давай (вполголоса нам с Алей: — почти что то же самое!) — как это ты поешь, ну?

— Ай ду ду,
Ай ду ду,
Сидит воен на дубу.

Он 'гает во тубу.
Во ту-бу.
Во ту-бу.

— Так, так, моя хорошая! Только еще продолжение есть: — «Труба точеная, позолоченая . . .» — но это тебе еще трудно, это когда ты постарше будешь.

И так далее — часами, никогда не уставая, не скучая, не иссякая.

— Марина, у меня никогда не будет детей. — Почему? — Не знаю, мне доктор сказал и даже объяснил, но это так сложно — все эти внутренности . . .

Серьезная, как большая, с ресницами уже мерцающими как зубцы звезды.

И большего горя для нее не было, чем прийти к моим детям с пустыми руками.

— Ничего нет, ничего нет сегодня, моя девочка! — она, на вопиюще-вопрошающие глаза Ирины. — Я, понимаешь, до последней минуты ждала, все надеялась, что выдадут . . . А не дали — потому что они гадкие — и Царя убили, и мою Ирину голодную посадили . . . Но зато обещаю тебе, понимаешь, непременно обещаю, что в следующий раз принесу тебе еще и сахару . . .

— Сахай давай! — Ирина — радостно-повелительно.

— Ирина, как тебе не стыдно! — Аля, негодующе, готовая от смущения просто зажать Ирине рукою рот.

И Сонечкино подробное разъяснение — ничего кроме «сахар» не понимающей Ирине — что сахар — завтра, а завтра — когда Ирина ляжет совсем-спать, и потом проснется, и мама ей вымоет лицо и ручки, и даст картошечки, и . . .

— Кайтошка давай!

— Ах, моя девочка, у меня сегодня и картошечки нет, я про завтра говорю . . . Сонечка, с искренним смущением.

— Сонечка! (Аля, взволновано) с Ириной никогда нельзя говорить про съедобное, потому что она это отлично понимает, только это и понимает, и теперь уже все время будет просить!

— О, Марина! Ведь сколько я убивалась, что у меня не будет детей, а сейчас — кажется — счастлива: ведь это такой ужас, такой ужас, я бы просто с ума сошла, если бы

мой ребенок просил, а мне бы нечего было дать ... Впрочем, остаются все чужие ...

Чужих для нее не было. Ни детей, ни людей.

Две записи из Алиной тетради весны 1919 г. (шесть лет).

Пришел вечер, я стала уже мыться. Вдруг послышался стук. Я еще с мокроватым лицом, накинув на себя Маринину шелковую шаль, быстро спустилась и спросила: Кто там? (Марина знала ту полудевочку — актрису Софью Евгеньевну Голлидэй). Там за дверью послышались слова:

— Это я, Аля, это Соня!

Я быстро открыла дверь, сказав:

— Софья Евгеньевна!

Душенька! Дитя мое дорогое! Девочка моя! воскликнула Голлидэй, я же быстро взошла через лестницу к Марине и восторженно сказала: — Голлидэй! Но Марины не было, потому что она ушла с Юрой Н. на чердак.

Я стала мыть ноги. Вдруг слышу стук в кухонную дверь. Отворяю. Входит Софья Евгеньевна. Она садится на стул, берет меня на колени и говорит: — Моего милого ребенка оставили! Я думаю — нужно всех гостей сюда позвать. — Но как же я буду мыть ноги? — Ах, да, это худо.

Я сидела, положив лицо на мягкое плечо Голлидэй. Голлидэй еле-еле касалась моей шали. Она ушла, обещав прийти проститься, я же вижу, что ее нет, и в одной рубашке, накинув на себя шаль, вхожу к Голлидэй и сажусь к ней на колени. Там были Юра С., еще один студиец, и Голлидэй, а Марина еще раньше ушла с Юрой Н. на чердак. Я пришла совсем без башмаков и сандалий, только в одних черных чулках. Трогательно! Юра С. подарил мне белый пирожок. Голлидэй была весела и гладила мои запутанные волосы. Пришла знакомая Голлидэй, послышались чьи-то шаги по крыше. Оказалось, что Марина с Юрой Н. через чердачное окно вместе ушли на крышу. Юра С. влез на крышу со свечой, воскликнув: — Дайте мне освещение для спасения хозяйки! Я сидела на подоконнике комнаты, слегка пододвигаясь к крыше. Голлидэй звала свою знакомую и гово-

рила: — Ой, дитя идет на крышу! Возьмите безумного ребенка!

Подошла барышня, чтобы взять меня, но я билась. Наконец, сама Голлидэй сняла меня и стала нести в кровать. Я не билась и говорила: — Галлида гадкая! Галлиду я не люблю! Она полусмеялась и дала меня С-ву, говоря, что я слишком тяжела для ее рук. Только что они усадили меня, как я вдруг увидала Марину, которая сходила с чердака. (Голлидэй, когда несла меня, то все говорила: — Аля, успокойся! ты первая увидишь Марину!) Марина держала в руках толстую свечу в медном подсвечнике. Голлидэй сказала Марине: — Марина, Алечка сказала, что она меня не любит!

Марина очень удивилась — как я думаю.

У нас была актриса Сонечка Голлидэй. Мы сидели в кухне. Было темно. Она сказала мне: — Знаешь, Алечка, мне Юра написал записочку: «Милая девочка Сонечка! Я очень рад, что Вы меня не любите. Я очень гадкий человек. Меня не нужно любить. Не любите меня». А я подумала, что он это нарочно пишет, чтобы его больше любили. А не презирали. Но я ей ничего не сказала. У Сонечки Голлидэй маленькое розовое лицо и темные глаза. Она маленького роста и у нее тонкие руки. Я все время думала о нем и думала: — Он зовет эту женщину, чтобы она его любила. Он нарочно пишет ей эти записочки. Если бы он думал, что он, правда, гадкий человек, он бы этого не писал.

... Не гадкий. Только — слабый. Бесстрастный. С ни одной страстью кроме тщеславия, так обильно — и обидно — питаемой его красотой. Что я помню из его высказываний? На каждый мой резкий, в упор, вопрос о предпочтении, том или ином выборе — хотя бы между красными и белыми — «Не знаю ... Все это так сложно ...» (Вариант: «так далеко, не-просто» ... по существу же «мне так безразлично» ...) Зажигался только от театра, помню, однажды больше часу

рассказывал мне о том, как бы он сделал (руками сделал?) маленький театр и разделил бы его на бесчисленное количество клеток, и в каждой — человечки, действующие лица своей пьесы, и междуклеточной — общей . . . — А что это были бы за пьесы . . . В чем, собственно, было бы дело? . . (Он, таинственно) — Не знаю . . . Этого я еще пока не знаю . . . Но я все это прекрасно вижу . . . (блаженно) — Такие маленькие, почти совсем не видеть . . .

Иногда — неопределенные мечты об Италии: — Вот, уедем с Павликом в Италию . . . будем ходить по флорентийским холмам, есть соленый, жгутами, хлеб, пить кьянти, рвать с дерева мандарины . . . (Я, эхом:) — И вспоминать — Марину . . . (Он, эхом эха:) — И вспоминать — Марину . . .

Но и Италия была из Гольдони, а не из глубины тоски.

Однажды Павлик — мне: — Марина? Юра решил ставить Шекспира. (Я, позабавленно) — Ну-у? — Да. Макбета. И что он сделает — половины не оставит!

— Он бы лучше половину — прибавил. Взял бы — и постарался. Может быть, Шекспир что-нибудь забыл? А Юрий Александрович — вспомнил, восполнил.

Однажды, после каких-то таких его славолюбивых бреден — он ведь рос в вулканическом соседстве бредового, театрального до кости Вахтангова — я ему сказала: — Юрий Алексадрович, услышьте раз в жизни — правду. Вас любят женщины, а вы хотите, чтобы вас уважали мужчины.

Его товарищи студийцы — кроме Павлика, влюбленного в него, как Пушкин в Гончарову — всей исключенностью для него, Павлика, такой красоты (что Гончарова была женщина, а Юрий З. — мужчина — не меняло ничего, ибо Пушкин, и женясь на Гончаровой, не обрел ее красоты, *остался* маленьким, юрким, и т. д.) — но любовь Павлика была еще и переборотая ревность: решение любить — то, что по существу должен был бы ненавидеть, любовь Павлика была — чистейший романтизм — итак, кроме Павлика, его товарищи студийцы относились к нему . . . снисходительно, верней — к нам, его любившим, снисходительно, снисходя к нашей слабости и обольщаемости. — «З—ий . . . да-а . . .» — и за этим протяжным *да* не следовало ничего.

(Их любовь с Павликом была взаимная ревность: Юрия — к дару, Павлика — к красоте, ревность, за невозможно-

стью вытерпеть, решившая стать и ставшая — любовью. И еще — тайный расчет природы: вместе они были — Лорд Байрон.)

Весь он был — эманация собственной красоты. Но так как очаг (красота) естественно-сильнее, то все в нем казалось и оказывалось недостаточным, а иногда и весь он — ее недостойным. Все-таки трагедия, когда лицо — лучшее в тебе и красота — главное в тебе, когда товар — всегда лицом, — твоим собственным лицом, являющимся одновременно и товаром. Все с него взыскивали по векселям этой красоты, режиссеры — как женщины. Все кругом ходили, просили. (Я одна *подала* ему на красоту.) — Но, помилуйте, господа, я никогда никому ничего такого не обещал . . .— Нет, родной, такое лицо уже есть — посул. Только оно обещало то, чего *ты* не мог сдержать. Такие обещания держат только цветы. И драгоценные камни. Драгоценные — насквозь. Цветочные — насквозь. Или уж — святые Себастианы. Нужно сказать, что носил он свою красоту робко, ангельски. (Откуда мне сие?) Но это не улучшало, это только ухудшало — дело. Единственный выход для мужчины — до своей красоты не снисходить, ее — презирать (пре-зри: гляди поверх). Но для этого нужно быть — больше, он же был — меньше, он сам так же обольщался, как все мы . . .

Как описать Ангела? Ангел ведь не состоит из, а сразу весь. Предстает. Предстоит. Когда говорят ангел, никакого сомнения быть не может: мы все видим — одно.

Только прибавлю: с седою прядью. Двадцать лет — и седая, чистого серебра, прядь.

И еще — с бобровым воротом шубы. Огромной шубы, потому что и рост был нечеловеческий: ангельский.

Помимо этого нечеловеческого роста, «фигуры» у него не было. Он сам был — фигура. Девятнадцатый Год его ангельству благоприятствовал: либо беспредельность шубы, либо хламида Св. Антония, то есть всегда — одежда, всегда — туманы. В этом смысле у него и лица не было: так, впадины, переливы, «и от нивы и до нивы — гонит ветер прихотливый — золотые переливы» . . . (серебряные). Было собирательное лицо ангела, но до того несомненное, что каждая маленькая девочка его бы, из своего сна, узнала. И — узнавала.

Но зря ангельский облик не дается, и *было* в нем что-то от ангела: в его голосе (этой самой внутренней из наших внутренностей, недаром по-французски organe), в его бережных жестах, в том, как, склонив голову, слушал, как, приподняв ее, склоненную, в двух ладонях, изнизу — глядел, в том, как внезапным недвижным видением в дверях — вставал, в том, как без следу — исчезал.

Его красота, ангельскость его красоты, его все-таки чему-то — учила, чему-то выучила, *она* диктовала ему шаг («он ступает так осторожно, точно боится раздавить какие-то маленькие невидимые существа», Аля), и жест, и интонацию. Словом (смыслом) она его научить не могла, это уже не ее разума дело, — поэтому *сказать* он ничего не мог (нечего было!), *выказать* — все.

Поэтому и обманывались: от самой простой уборщицы — до нас с Сонечкой. «Так любит, что и сказать не может . . .» (*Так* — не любил, никак не любил.) «Какая-то тайна . . .» Тайны не было. Никакой — кроме самотайны такой красоты.

Научить *ступить* красота может (и учит!), *поступить* нет, *выказать* — может, *высказать* — нет. Нужному голосу, нужной интонации, нужной паузе, нужному дыханию. Нужному слову — нет. Тут уже мы вступаем в другое княжество, где князья — мы, «карлики Инфанты».

Не «было в нем что-то от Ангела», а — все в нем было от ангела, кроме слов и поступков, слова и дела. Эти были — самые обыкновенные, полушкольные, полуактерские, если не лучшие его среды и возраста — то и не худшие, и *ничтожные* только на фоне такой красоты.

Я сказала: в каком-то смысле у него лица не было. Но и лика — не личины — не было. Было — обличие. Ангельская облицовка рядового (и нежилого) здания. Обличие, подобие (а то, что я сейчас делаю — надгробие), но все-таки лучше, что — было чем — не было бы!

Ему — дело прошлое, и всему этому уже почти двадцать лет! его тогдашний возраст! — и моя стихотворная россыпь «Комедьянт», ему, о нем, о живом тогдашнем нем, моя пьеса «Лозэп» (Фортуна), с его живым возгласом у меня в комнате, в мороз, под темно-синим, осьмнадцатого века фонарем:

... да неужели ж руки
И у меня потрескаются? Черт
Побрал бы эту стужу! Жаль вас, руки.

(Это черт звучало нежней лютни!) — Вижу игру темно-синего света и светло-синей тени на его испуганно-свидетельствуемой руке... *Ему* моя пьеса (пропавшая) «Каменный Ангел»: каменный ангел на деревенской площади, из-за которого невесты бросают женихов, жены — мужей, вся любовь — всю любовь, из-за которого все топились, травились, постригались, а он — стоял... Другого действия, кажется, не было. Хорошо, что та тетрадь пропала, так же утопла, отравилась, постриглась — как те... *Его* тень в моих (и на моих!) стихах к Сонечке... Но о *нем* — другая повесть. Сказанное — только чтобы уяснить Сонечку, показать, на что были устремлены, к чему были неотторжимо прикованы в ту весну 1919 года, чем были до краев наполнены и от чего всегда переливались ее огромные, цвета конского каштана, глаза.

Сонечка! Простим его ангельскому подобию.

Однажды я зашла к нему — с очередным даром. Его не застала, застала няньку.

— Вот книжечку принесли Юрочке почитать — и спасибо вам. Пущай читает, развлекается. А мало таких, милая вы моя, — с приносом. Много к нему ходят, с утра до ночи ходят, еще глаз не открыл — звонят, и только глаза смежил — звонят — и все больше с пустыми руками да поцалуями. Да я тем барышням не во осуждение — молоденькие! а Юрочка — хорош-расхорош, завсегда хорош был, как родился, хорош был, еще на руках был — все барышни влюблялись, я и то ему: — Чего это ты, Юрий Алексаныч, уж так хорош? Не мужское это дело! — Да я, няня, не виноват. — Конешно, не виноват, только мне-то двери отворять бегать от этого — не легше... Пущай цалуют! (все равно ничего не выцалуют), а только: коли цалуешь — так позаботься, — что бы рису, али пшена, али просто лепешечку — вы же видите, какой он из себя худющий, сестра Верочка ко-

торый год в беркулезе, неровен час и он: одно лицо, одна кровь — не ему, понятно, он у нас стеснительный, не возьмет, — а ко мне на кухню: «Нате, мол, няня, подкрепите своего любимого». Нет, куда там! Коли ко мне на кухню, так — что не любит — плакаться. И голова пуста и руки пусты. Зато рот по-олон: пустяками да поцалуями.

А зато одна к нему ходит — золото. (Две их у меня — носят, только одна — строгая такая, на манер гувернантки, и носик у них великоват будет, так я сейчас не про них...) Вы барышню Галлиде знаете? Придет: — Юрочка дома? Сначала Юрий Алексаныч говорила, ну а потом быстро пообвыкла, меня стесняться перестала. — Дома, говорю, красавица, только спит. — Ну, не будите, не будите, я и заходить не хотела, только вот — принесла ему, только вы, няня, ему не говорите...

И пакетец сует, а в пакетце — не то, чтобы пшено али ржаной хлеб, а завсегда булочка белая: ну, белая... И где она их берет?!

Или носки сядет штопать. — Дайте мне, нянечка, Юрочкины носки. — Да что вы, барышня, нешто это ваших молодых ручек дело? Старухино это дело. — Нет уж! — и так горячо, горячо, ласково, ласково, в глаза глядит — вы меня барышней не зовите, а зовите — Соня, а я вас — няня. Так и стала звать — Сонечка, как малюточку.

Ну уж и любит она его — сказать не могу!

Носки перештопает, рубашечку погладит (а наш-то все спит, не ведает), поцалует меня в щеку — кланяйтесь, няня, Юрочке — и пойдет.

Солько раз я своему красавцу говорила: — Не думай долго, Юрий Александрович, все равно лучше не сыщешь: и красавица, и умница, и работница, и на театре играет — себя оправдывает, и в самую что ни на есть темнеющую ночь к дохтуру побежит, весь город на-ноги поставит, а уж дохтура приведет: с такой женой болеть мо-жно! — а уж мать твоим детям будет хороша, раз тебя, версту коломенскую, в сыновья взяла. И ростом — подстать: ты — во-о какой, а она — ишь какая малюточка! (Мне: — Верзилы-то завсегда малюточек любят.) Только мал золотник — да дорог.

— А он?

— Стоит, улыбается, отмалчивается. Не любит — вот что.

— Другую любит?

— Эх, милая вы моя, никого-то он не любит, отродясь не любил, кроме сестры Верочки, да меня, няньки.

(Я, мысленно: — И себя в зеркале.)

— Так про Сонечку чтоб досказать. Не застанет — веселая уходит, а застанет — завсегда со слезами. Прохладный он у нас.

— Прохладный он у вас.

Зеркало — тоже прохладное.

У Сонечки была своя нянька — Марьюшка. «Замуж буду выходить — с желтым сундуком — в приданое». Не нянька — старая прислуга, но старая прислуга, зажившаяся, все равно — нянька. Я этой Марьюшки ни разу, за всю мою дружбу с Сонечкой, не видала — потому что она всегда стояла в очереди: за воблой, за постным маслом и еще за одной вещью. Но постоянно о ней слышала, и все больше, что «Марьюшка опять рассердится» (за Юру, за бессонные ночи, за скормленное кому-то пшено . . .)

Однажды стук в дверь. Открываю. Черное, от глаз, лицо — и уже с порога:

— Марина! Случилась ужасная вещь. В моей комнате поселился гроб.

— Что-о-о?

— А вот — слушайте. Моя Марьюшка где-то прослышала, что выдают гроба — да — самые настоящие гроба (пауза) — ну, для покойников — потому что ведь сейчас это — роскошь, вы же знаете, что Алексею Александровичу сделали в Студии — всюду будто уже выдали, а у нас не выдают. Вот и ходила — каждый день ходила, выхаживала — приказчик, наконец, терпение потерял: — Да скоро ли ты, бабка, помрешь, чтоб к нам за гробом не таскаться? Раньше, бабка, помрешь, чем гроб выдадим — и тому подобные любезности, ну, а она — твердая: обешшано — так обешшано, я от своего не отступлюсь. И ходит, и ходит. И, наконец, нынче приходит — есть! Да, да, по тридцатому талону карточки широкого потребления. — Ну, дождалась, бабка, сво-

его счастья? И ставит ей на середину лавки — голубой. — Ну-ка примерь, уместишься в нем со всеми своими косточками? — Умещусь-то, умещусь, говорю, да только не в энтом. — Как это еще — не в энтом? — Так, говорю, потому что энтот — голубой, мужеский, а я — девица, мне розовый полагается. Так уж вы мне, будьте добры, розовенький, — потому что голубого не надо нипочем. — Что-о, говорит, карга старая, мало ты мне крови испортила, а еще — *девица* оказалась, в розовом нежиться желаешь! Не будет тебе, чертова бабка, розового, потому что их у нас в заводе нет. — Так вы уж мне тогда, ваше степенство, беленький, — я ему, — испужалась больно, как бы совсем без гробику не отпустил — потому что в мужеском голубом лежать для девицы — бесчестье, а я всю жизнь от младенческих пелен до савана честная была. Тут он на меня — ногами как затопочет: — Бери, чертова девица, что дают — да проваливай, а то беду сделаю! Сейчас, орет, революция, великое сотрясение, мушшин от женщин не разбирают, особенно — покойников... Бери, бери, говорю, а то энтим самым предметом угроблю! — да как замахнется на меня — гробовой крышéчкой-то! Стыд, страм, солдаты вокруг — гогочут, пальцами — тычут...

Ну, вижу, делать нечего, взвалила я на себя свой вечный покой и пошла себе, и так мне, барышня, горько, скоко я за ним таскалась, скоко насмешек претерпела, а придется мне упокоиться в мужеском голубом.

И теперь, Марина, он у меня в комнате. Вы над дверью полку такую глубокую видели — для чемоданов? Так она меня — прямо-таки умолила: чтобы под ногами не мешался, а главное — чтобы ей глаз не язвил: цветом. «Потому что как на него взгляну, барышня, так вся оболью обидой».

Так и стоит. (Пауза.) — Я наверное все-таки когда-нибудь к нему — привыкну!

(Это было в Вознесенье 1919 года.)

Четвертым действующим лицом Сонечкиной комнаты был — гроб.

А вот моя Сонечка, увиденная другими глазами: чужими.

— Видел сегодня вашу Сонечку Голлидэй. Я ехал в трамвае, вижу — она стоит, держится за кожаную петлю, что-то читает, улыбается. И вдруг у нее на плече появляется огромная лапа, солдатская. И знаете, что она сделала? Не переставая читать и даже не переставая улыбаться спокойно сняла с плеча эту лапу — как вещь.

— Это — живая она! А вы уверены, что это — она была?

— О, да. Я ведь много раз ходил смотреть ее в «Белых ночах», та же самая, в белом платьице, с двумя косами... Это было так... прэлэстно (мой собеседник был из Царства Польского), что весь вагон рассмеялся, и один даже крикнул: браво!

— А она?

— Ничего. И тут глаз не подняла. Только может быть улыбка стала — чуть-чуть шире... Она ведь очень хорошенькая.

— Вы находите?

— С опущенными веками, и этими косами — настоящая мадонна. У нее, вероятно, много романов?

— Нет. Она любит только детей.

— Нно... это же *не*...

— Нет, это мешает.

Так я охраняла Сонечку от — буржуйских лап.

Романы?

Je n'ai jamais su au juste ce qu'étaient ses relations avec les hommes, si c'étaient ce qu'on appelle des liaisons — ou d'autres liens. Mais rêver ensemble ou dormir ensemble, c'était toujours de pleurer seule.

Часть вторая

Володя

ВОЛОДЯ

Первое слово к его явлению — стать, и в глазах сразу — стан: опрокинутый треугольник, где плечам дано все, поясу — ничего.

Первое впечатление от лица — буква Т и даже весь крест: поперечная морщина, рассекающая брови и продолженная прямолинейностью носа.

Но здесь — остановка, потому что все остальное зрительное было — второе.

Голос глубокий, изглубока звучащий и потому отзывающийся в глубинах. И — глубоко захватывающий, глубокое и глубоко захватывающий.

Но — не певучий. Ничего от инструмента, все от человеческого голоса в полную меру его человечности и связок.

Весь с головы до пят: — Voilà un homme!

Даже крайняя молодость его, в нем, этому homme — уступала. Только потом догадывались, что он молод — и очень молод. С ним, заменив Консула — юношей, а Императора — мужем, на ваших глазах совершалось двустишие Hugo:

> Et du Premier Consul déjà en maint endroit
> Le front de l'Empereur perçait le masque étroit.

Этот муж в нем на наших глазах проступал равномерно и повсеместно.

Этот юноша носил лицо своего будущего.

Об этом Володе А. я уже целый год и каждый раз слышала от Павлика А. — с неизменным добавлением — замечательный. — «А есть у нас в Студии такой замечательный человек — Володя А.» Но *этого* своего друга он на этот раз ко мне не привел.

Первая встреча — зимой 1918-1919 г., на морозном скло-

не 1918 г., в гостях у молодящейся и веселящейся дамы, ногу подымавшей, как руку, и этой ногой-рукой приветствовавшей искусство — все искусства, мое и меня в том числе. Таких дам, с концом старого мира справлявших конец своей молодости, много было в революцию. В начале ее. К 19-му году они все уехали.

Первое слово этого глубокого голоса: — Но короли не только подчиняются традициям — они их создают.

Первое слово — мне, в конце вечера, где нами друг другу не было сказано ни слова (он сидел и смотрел, как играют в карты, я — даже не смотрела): — Вы мне напоминаете Жорж Занд — у нее тоже были дети — и она *тоже* писала — и ей тоже так трудно жилось — на Майорке, когда не горели печи.

Сразу позвала. Пришел на другой день с утра — пошли бродить. Был голоден. Поделили и съели с ним на улице мой кусок хлеба.

Потом говорил: — Мне сразу все, все понравилось. И что сразу позвали, не зная. И что сами сказали: завтра. Женщины этого никогда не делают: всегда — послезавтра, точно завтра они всегда очень заняты. И что дома не сидели — пошли. И что хлеб разломили пополам, и сами ели. Я в этом почувствовал — обряд.

А потом, еще позже: — Вы мне тогда, у Зои Борисовны, напомнили польскую панночку: на вас была такая (беспомощно) — курточка, что ли? Дымчатая, бархатная, с опушкой. Словом, кунтуш? И посадка головы — немножко назад. И взгляд — немножко сверху. Я сразу в вас почувствовал — польскую кровь.

Стал ходить. Стал приходить часто — раза два в неделю, сразу после спектакля, то есть после двенадцати. Сидели на разных концах рыжего дивана, даже так: он — в глубоком его углу, я — наискосок, на мелком, внешнем его краю. Разговор происходил по длинной диагонали, по самой долгой друг к другу дороге.

Темный. Глаза очень большие, но темные от ресниц, а сами — серые. Все лицо прямое, ни малейшей извилины, резцом. В лице та же прямота, что в фигуре: la tête de son corps. Точно это лицо тоже было — стан. (Единственное не

прямое во всем явлении — «косой» пробор, естественно прямей прямого.)

Зрительно — прямота, внутренне — прямость. Голоса, движений, в глаза-гляденья, рукопожатья. Все — односмысленно и по кратчайшей линии между двумя точками: им — и миром.

Прямость — твердость. И даже — непреклонность. При полнейшей открытости — непроницаемость, не в смысле внутренней загадочности, таинственности, а в самом простом смысле: материала, из которого. Такого рукой не тронешь, а тронешь — ни до чего, кроме руки, не дотронешься, ничего в ней не затронешь. Поэтому бесполезно трогать. Совершенно, как со статуей, осязаемой, досягаемой, но — непроницаемой. В каком-то смысле — вещь без резонанса.

Словом, самое далекое, что есть от портрета, несмотря на пластическое несуществование свое, а может быть благодаря ему, бесконечно-досягаемого и податливого, который, по желанию, можно *вглядеть* на версту внутрь рамы, или изнутри всех его столетий в комнату — выглядеть. Самое обратное портрету, то есть — статуя, крайней явленностью своей и выявленностью ставящая глазам предел каждой точкой своей поверхности.

(Неужели это все я — М. И.? — Да, это все — вы, Володечка. Но рано обижаться — погодите.)

(Как потом выяснилось — это впечатление его статуарности было ошибочное, но это — потом выяснилось, и я этой ошибкой полтора года кормилась, на этой ошибке полтора года строила — и выстроила.)

Сразу стал — друг. Сразу единственный друг — и оплот.

В Москве 1918-1919 г. мне — мужественным в себе, прямым и стальным в себе, делиться было не с кем. В Москве 1918-1919 г. из мужской молодежи моего круга — скажем правду — осталась одна дрянь. Сплошные «студийцы», от войны укрывающиеся в новооткрытых студиях... и дарованиях. Или красная молодежь, между двумя боями, побывочная, наверно прекрасная, но с которой я дружить не могла, ибо нет дружбы у побежденного с победителем.

С Володей я отводила свою мужскую душу.

Сразу стала звать Володечкой, от огромной благодарно-

сти, что не влюблен, что не влюблена, что все так по-хорошему: по-надежному.

А он меня — М. И., так с отчества и не сошел, и прощались по имени-отчеству. И за это была ему благодарна, ибо в те времена кто только меня Мариной не звал? Просто: М. И. — никто не звал! Этим отчеством сразу отмежевался — от тех. Меня по-своему — присвоил.

Разговоры? Про звезды: однажды, возвращаясь из каких-то гостей, час с ним стояли в моем переулке, по колено в снегу. Помню поднятую, все выше и выше поднимаемую руку — и имя Фламмариона — и *фламмарионы* глаз, только затем глядящих в мои, чтобы мои поднялись на звезды. А сугроб все рос: метели не было, были — звезды, но сугроб, от долгого стояния, все рос — или мы в него врастали? — еще бы час постояли — и оказался бы ледяной дом, и мы в нем . . .

О чем еще? Об Иоанне д'Арк — чуде ее явления — о Наполеоне на Св. Елене — о Джеке Лондоне, его, тогда, любимом писателе — никогда о театре.

И — никогда о стихах. Никогда стихов — я ему. Не говорила, не писала. Наше с ним было глубже любви, глубже стихов. Обоим — нужнее. И должно быть — нужнее всего на свете: нужнее, чем он мне и я ему.

Об его жизни (любовях, семье) я не знала ничего. Никогда и не спросила. Он приходил из тьмы зимней тогдашней ночи и в нее, еще более потемневшую за часы и часы сидения — уходил. («В уже посветлевшую» — будет потом.)

И я даже мысленно его не провожала. Володя кончался за порогом и начинался на пороге. Промежуток — была его жизнь.

Руку на сердце положа: не помню, чтобы мы когда-нибудь с ним уговаривались: когда придете? и т. д. Но разу не было — за зиму, чтобы он пришел и меня не застал, и разу не было, чтобы застал у меня других. И «дней» у нас не было: когда два раза в неделю, а когда и раз в две. — Значит, вы всегда были дома и всегда одна? — Нет, уходила. Нет, бывали. Но это было наше с ним чудо, и разу не было, чтобы я, завидев его, не воскликнула: — Володя! Я как раз о вас думала! — Или: — Володя, если бы вы знали,

как я мечтала, чтобы вы нынче пришли! — Или просто: — Володя! Какое счастье!

Потому что с ним входило счастье — на целый вечер, счастье надежное и наверное, как любимая книга, на которую даже не надо света.

Счастье без страха за завтрашний день: а вдруг разлюбит? больше не придет? и т. д. Счастье без завтрашнего дня, без его ожидания: выхаживания его большими шагами по улицам, выстаивания ледяными ногами — ледяными ночами — у окна...

Больше скажу: я никогда по Володе не скучала, так же достоверно не скучала по нему и без него, как ему радовалась. Мечтала — да, но так же спокойно, как о вещи, которая у меня непременно будет, как о заказном письме, которое уже знаю, что — послано. (Когда дойдет — дело почты, не мое.)

Сидел — всегда без шубы. Несмотря на холод и даже мороз — всегда без шубы. В сером, элегантном от фигуры костюме, таком же статном, как он сам, весь — очертание, весь — отграниченность от окружающих вещей, стен. Сидел чаще без прислона, а если прислонясь — то никогда не развалясь, точно за спиной не стена — а скала. Ландшафт за ним вставал неизменно морской, и увидев его потом (только раз!) на сцене, в морской пьесе — не то «Гибель Надежды», не то «Потоп» — я не только не почувствовала разрыва с моим Володей, а наоборот — может быть впервые увидела его на его настоящем месте: морском и мужском.

От Павлика я уже год слышала, что «Володя — красавец»... — Не такой, как Юра, конечно, то есть *такой* же, но не *такой*... Вы меня понимаете? — Еще бы! — Потому что Юра так легко мог бы быть — красавицей, а Володя — уж никакими силами...

Поэтому Володину красоту на пороге первого раза я встретила, как данность, и уже больше ею не занималась, то есть поступила с ней совершенно так, как он — когда родился. Не мешая ему, она не мешала и мне, не смущая и не

заполняя его, не смущала и меня, не заполняла и меня. Его красота между нами не стояла — и не сидела, как навязчивый ребенок, которого непременно нужно занять, унять, иначе от скуки спалит дом.

С самого начала скажу: ничего третьего между нами не было, была долгая голосовая диванная дорога друг к другу, немногим короче, чем от звезды до звезды, и был человек (я) перед совершенным видением статуи, и может быть и садилась я так далеко от него, чтобы лучше видеть, дать этой статуе лучше встать, создавая этим перспективу, которой с ним лишена была внутренно, и этой создаваемой физической перспективой замсняя ту, внутреннюю, которая у людей зовется будущее, а между мужчиной и женщиной есть любовь.

Однажды я его, шутя, спросила:

— Володечка, а надоедают вам женщины с вашей красотой? Виснут?

Смущенно улыбаясь, прямым голосом: — М. И., на каждом молодом виснут. Особенно на актере. Волка бояться ... А мне всех, всех женщин жаль. Особенно — не так уж молодых. Потому что мы все перед ними безмерно виноваты. Во всем виноваты.

— А — вы?

— Я (честный взгляд), я стараюсь — исправить.

Дружил он, кроме меня, с одной их студийкой — с кавказской фамилией. Когда он ее очень уж хвалил, я шутя ревновала, немножко ее вышучивала, никогда не видав. И каждый раз: — Нет, нет, М. И., здесь смеяться нельзя. Даже — шутя. Потому что она — замечательный человек.

Неподдающийся, как скала.

— Она сестрой милосердия была в войну, — тоном высшего признания, — на войне была.

— А я — не была.

— Вам — не надо, вам — другое надо.

— Сидеть и писать стихи? О, я даже обижена!

— Нет, не: сидеть и писать стихи, а делать то, что вы делаете.

— А что я делаю?

— То, что сделали вы — со мной и то, что со мной еще сделаете.

— Володя, не надо!

— *Не* надо.

Однажды он мне ее привел. И — о, радость! — барышня оказалась некрасивая. Явно-некрасивая. Такая же явно-некрасивая, как он — красивый. И эту некрасивую он, забалованный (бы) и залюбленный (бы) предпочитал всем, с *ней* сидел — когда не сидел со мной.

Попытка — исправить?

Володя приходил ко мне с рассказами — как с подарками, точно в ладони принесенными, до того — вещественными, донесенными до моего дома — моего именно, и клал он мне их в сердце — как в руку.

Помню один такой его рассказ об убитом в войну французском летчике. Разбитый аппарат, убитый человек. И вот, через какой-то срок — птица-победитель возвращается — снижается — и попирая землю вражды, победитель-немец — сбитому французу — венок.

Такими рассказами он меня поил и кормил в те долгие ночи.

Никогда — о театре, только раз, смеясь: — М. И., вы ведь меня не заподозрите в тщеславии? — Нет. — Потому что очень уже замечательно сказано, вы — оцените. У нас есть уборщица в Студии, милая, молоденькая, и все меня ею дразнят — что в меня влюблена. Глупости, конечно, а просто я с ней шучу, болтаю, — молодая ведь, и так легко могла бы быть моей партнершей, а не уборщицей. У женщин ведь куда меньшую роль играют рождение, сословие. У них только два сословия: молодость — и старость. Так ведь? Ну, так она нынче говорит мне — я как раз разгримировался, вытираю лицо: — Ах, Володечка А-в, какой вы жестокий красавец! — Что вы, Дуня, — говорю, — какой я жестокий красавец? Это у нас З-ский — жестокий красавец. — Нет, — говорит, — потому что у Юрия Алексеича красота ангельская, городская, а у вас, Володечка, морская, военная, самая настоящая нестерпимая жестокая мужская еройская. У нас бы на деревне Юрия Алексеича — засмея-

ли, а от вас, Володечка, три деревни все сразу бы в уме решились.

Вот какой я (задумчиво) — ерой...

— «Красота страшна, быть может...» А теперь, Володя, в рифму к вашему жестокому красавцу, я расскажу вам свою историю:

Я отродясь помню в нашем доме Марью Васильевну — кто она была, не знаю, должно быть — *все:* и кто-нибудь из детей заболел — она, и сундуки перетрясать — она, и перешивать — она, и яйца красить — она. А потом исчезала. Худая — почти скелет, но чудные, чудные глаза, такие страдальческие, живое страдание: темно-карие (черных — нет, черные только у восточных — или у очень глупых: бусы) — во все лицо, которого не было. И хотя старая, но не старуха — ни одного седого волоса, черные до синевы, прямым пробором. Ну — монашка и еще лучше — старая Богородица над сыном. Да так оно и было: у нее — я тогда еще была очень маленькая — был сын Саша, реального училища, он жил у нас в пристройке, возле кухни. Потом мы с матерью уехали за границу, а он заболел туберкулезом, и мой отец отправил его в Сухум. — Ах, Мусенька, как он меня ждал, как меня ждал! С каждым пароходом ждал — а уж умирал совсем. Затрубит пароход: — Вот это мама ко мне едет! (Сиделка потом рассказывала.) А я взаправду ехала — ваш папаша мне денег дал, и дворник на вокзале билет купил и в поезд посадил, — я ведь в первый раз так далеко ехала. Еду, значит, а он, значит, ждет. И как раз, как нам пристать, пароход затрубил. А он — привстал на постели, руки вытянул: — Приехала мама! — и мертвый упал...

...Это я вам, чтобы дать вам ее лицо, потому что это лицо у нее так и осталось, даже когда манную кашу варила или про генеральшиных мопсов рассказывала — всегда с таким лицом. Но теперь — про ту самую жестокую красоту — тоже рассказ, из ее молодости. — Я, Мусенька, не смотри на меня, что мощá, и желтей лимону, и зубы шатаются — я, Мусенька, красавица была. И было мне тогда пятнадцать лет. Пошла я за чем-то в лавочку, за мной следом молодой человек заходит. Вышла я — он за мной. Вхожу в дом, гляжу из окна — стоит, на занавеску смотрит. Из себя — брюнет, глазищи — во-о, усы еще не растут, ну,

лет шестнадцать, что ли. И, ей-Богу, на меня похож — глазами, потому что глазами моими мне все уши прожужжали, пропели, уж я-то их у себя на лице — знала. Смотрю — *мои* глаза, мои и есть. Ну, словом — братишка мне. (Я одна росла.) Только — рассказывать-то долго, а поглядеть — коротко, разом я занавеску задернула.

Завтрашний день — опять в лавочку, а он уже стоит, ждет. Ничего не говорит, не кланяется, а только глядит. И все дни так пошло: следом — как тень и стоит — как пень. Ну, а на пятый, что ли — у меня сердце не выдержало: и зло берет, что глядит, и зло берет, что молчит, — как выходит он вслед за мной, я — ему: — И глядеть нечего, и стоять нечего, потому что ничего не выглядишь; потому что я просватана: за богатого замуж выхожу.

А он — весна была, стоит под деревцами, снял картуз, да ни-изко поклонился. И — весь воском залился. А на другой день — я еще сплю — крик, шум: у Егоровых малый зарезался. Ночью, видать, потому что весь холодный. Все бегут — и я бегу.

И лежит он, Мусенька, мой недавний знакомец, гляделец, только глаз-то *моих* уже больше не видать: закрылись.

... Володечка, а ваша уборщица?

— Нет, М. И., времена другие, сейчас все страшно подешевело. Да я бы... почувствовал бы, если бы — действительно. Нет, выйдет замуж — и будут дети.

— И старшего назовет — Володечка.

— *Это — может* быть.

Такими рассказами я его кормила и поила долгие ночи: он — в глубоком углу дивана, я на мелком его краю, под синим фонарем, по длинной диагонали — явить имевшей всю нашу друг к другу дорогу, по которой мы никогда никуда не пришли.

... Теперь я думаю (да и тогда знала!) — Володя был — спутник, и дорога была не друг к другу, а — от нас самих,

совместная — из нас самих. Отсюда и простор, и покой, и надежность — и неспешность: спешишь ведь только в тот извечный тупик, из которого одна дорога: назад, шаг за шагом все отнимая, что было дано, и даже затаптывая, и даже втаптывая, ногой как лопатой заравнивая.

О моей завороженности — иного слова нет — Ю. З. Володя конечно знал. Но он ее не касался, а может быть она его не касалась. Только, когда я, изведенная долгими пропаданиями Ю. З. (а пропадать он начал скоро: сразу!) равнодушнейшим из голосов: — А как З-ский? — З-ский ничего. Играет.

З-ский был единственный пункт его снисхождения. Это имя, мною произнесенное, сразу ставило его на башню, а меня — в садик под нею, в самый розовый его куст. И как хорошо мне было, внезапно умаленной на все свое превосходство (с ним — равенство) — маленькой девочкой, из своего розового изнизу заглядевшейся на каменного ангела. Володе же, для которого я была всегда на башне, — сама башня, как-то неловко было видеть меня младшей (глупой). Он, даже, физически, отвечая об Ю. З., не подымал глаз — так что я говорила с его опущенными веками.

И когда я однажды, прорвавшись: — Володя, вы меня очень презираете за то, что . . . — он, как с неба упав: — Я — вас — презираю? Так же можно презирать — небо над головой! Но чтобы раз навсегда покончить с этим: есть вещи, которые мужчина — в женщине — не может понять. Даже — я, даже — в вас. Не потому что это ниже или выше нашего понимания, дело *не* в этом, а потому что некоторые вещи можно понять только изнутри себя, *будучи*. Я женщиной быть не могу. И вот, то немногое только-мужское во мне не может понять того немногого только-женского в вас. Моя тысячная часть — вашей тысячной части, которую в вас поймет каждая женщина, любая, *ничего* в вас не понимающая. З-ский — это ваша общая женская тайна . . . (усмехнувшись) . . . даже — заговор.

Не понимая, принимаю, как все всегда в вас — и от вас — приму, потому что вы для меня — вне суда.

— А хороший он актер?

— На свои роли, то есть там, где вовсе не нужно *быть*, а только являться, представать, проходить, произносить. Видите, говорю вам честно, не перехваливаю и не снижаю. Да и не актера же вы в нем...

— А знаете ли вы, Володечка, вы, который все знаете — что я всего З., и все свои стихи к нему, и всю себя к нему отдам и отдаю за час беседы с вами — вот так — вы на том конце, я на этом...

Молчит.

— ... Что если бы мне дали на выбор — его всего — и наше с вами — только-всего... Словом, знаете ли вы, что вы его с меня, с моей души, одним своим рукопожатьем — как рукой снимаете?

Все еще молчит.

— Что я вас *бесконечно* больше... ?!

— Знаю, Марина Ивановна.

Долгие, долгие дни...
Это — нет, но:
Долгие, долгие ночи...

Когда уходил? Не на рассвете, потому что светает зимой поздно, но по существу, конечно — утром: в четыре? В пять? Куда уходил? В какую жизнь? (без меня.) Любил ли кого-нибудь, как я — Ю. З.? Лечился ли у меня от несчастной недостойной любви? Ничего не знаю и не узнаю никогда.

Я никогда не встречала в таком молодом — такой страсти справедливости. (Не *его* — к справедливости, а страсти справедливости — в нем.) Ибо было ему тогда много-много двадцать лет. «Почему я должен получать паек, только потому, — что я — актер, а он — нет? Это несправедливо». Это был его главнейший довод, резон всего существа, точно (да *точно* и есть!) справедливость нечто совершенно одно-

смысленное, во всех случаях — несомненное, явное, осязаемое, весомое, видимое простым глазом, всегда, сразу, отовсюду видимое — как золотой шар храма Христа Спасителя из самой дремучей аллеи Нескучного.

Несправедливо — и кончено. И вещи уже нет. И соблазна уже нет. Несправедливо — и *нет*. И это не было в нем головным, это было в нем хребтом. Володя А. потому так держался прямо, что хребтом у него была справедливость.

Несправедливо он произносил так, как кн. С. М. Волконский — *некрасиво*. Другое поколение — другой словарь, но вещь — одна. О, как я узнаю эту неотразимость основного довода! Как бедный: — это дорого, как делец — это непрактично —

— так Володя А. произносил: — это несправедливо.

Его несправедливо было — неправедно.

Володя, как все студийцы его Студии, был учеником Стаховича — но не как все студийцы.

— М. И., Стахович учит нас итогам — веков. Дело не в том, что нужно — так кланяться, а в том — почему надо так кланяться, как от первого дикаря к тому поклону — пришли. От раздирания, например, друг друга зубами — до дуэли. Этому Стахович нас не учит (с усмешкой) . . . у нас времени нет — на *историю* жеста, нам нужен . . . жест, прямая выгода и мгновенный результат: войду и поклонюсь, как Стахович, выйду — и подерусь, как Стахович — но этому я сам учусь, прохожу его уроки — вспять, к истоку, а вы ведь знаете, как трудно установить истоки Рейна и рода . . . Для меня его поклон и бонтон — не ответ, а вопрос, вопрос современности — прошлому, мой вопрос — тем, и я сам пытаюсь на него ответить, потому что, М. И. (задумчиво) я . . . не знаю . . . ответил ли бы на него сам Стахович? Стаховичу эти поклоны даны были отродясь, это был дар его предков — ему в колыбель. У меня нет предков, М. И., и мне никто ничего не положил в колыбель. Я пришел в мир — голый, но, хоть и голый, я не должен бессмысленно оде-

ваться в чужое, хотя бы прекрасное, платье. Их дело было донести, мое — осмыслить.

И я уже много понял, М. И., и скажу, что это меньше всего — форма, и больше всего — суть. Стахович нас учит *быть*. Это — уроки бытия. Ибо — простите за грубый пример — нельзя, так поклонившись, заехать друг другу в физиономию — и даже этих слов сказать нельзя, и даже их подумать нельзя, а если их подумать нельзя — я уже другой человек, поклон этот у меня уже внутри.

После смерти Стаховича он сказал мне: — Я многим ему обязан. Иногда — я молод, М. И., и сейчас революция, и я часто окружен грубыми людьми — когда у меня соблазн ответить тем же, сказать ему на его языке — хотя бы кулаком — у меня сразу мысль: это не — по Стаховичу. И — язык не поворачивается. И — рука не подымается. Подымется, М. И., но в нужный час — и никогда не сжатая в кулак!

На похоронах Стаховича — пустыней Девичьего Поля . . .

Пустыней Девичьего Поля
Бреду за ныряющим гробом.
Сугробы — ухабы — сугробы —
Москва: Девятнадцатый Год . . .

я среди других его юных провожатых особенно помню Володю, особенную прямость его стана под ударами и над сугробами, ни на шаг не остающего от учителя. Так мог идти старший, любимый внук.

И — что это? что это? Над хрустальным, кристальным, маленьким, сражающим чистотой и радостью крестом — черные глаза, розовое лицо, двумя черными косами как бы обнимающее крест — Сонечка над соседней могилой Скрябина. Это было первое ее видение, после того, на сцене, на чтении «Метели», первая встреча с ней после моей «Метели», в другой метели, ревевшей и бушевавшей над открытой могилой, куда никак не проходил барский, добротный, в Художественном театре сколоченный, слишком просторный для ямы — гроб. Студийцы, нахмурясь, расширяли, били лопатами мерзлую землю, обивали о нее лопаты, с ней — лопатами — на смерть бились, девочка, на коленях посреди сугроба, обняв руками и обвив косами соседний хру-

стальный крест, заливала его слезами, зажигала глазами и щеками — так, что крест сиял и пылал — в полную метель, без солнца.

— Как мне тогда хотелось, Марина, после этой пытки, — Марина, вы помните этот ужасный возглас: — Батюшка, торопитесь, второй покойник у ворот! — точно *сам* пришел и встал с гробом на плечах, точно сам свой гроб принес, Марина! — Марина, как мне тогда хотелось, нылось, *вылось* — домой, с вами, отогреться от всей этой смерти, — все равно куда «домой» — куда-нибудь, где я останусь одна с вами, и положу вам голову на колени — как сейчас держу — и скажу вам все про Юру — и тут же сразу вам его отдам — только чтобы вы взяли мою голову в ладони, и тихонько меня гладили, и сказали мне, что не все еще умерли. что я еще не умерла — как все они . . . О, как я завидовала Вахтангу Левановичу, который шел с вами под руку и одно время — положив вам руку на плечо — всю эту долгую дорогу — шел с вами, один, с вашей коричневой шубой, которой вы его иногда, ветром, почти запахивали, так что он мог думать, что это *вы* — его, что идет с вами под одной шубой, что вы его — любите! Я потом ему сказала: — Вахтанг Леванович, как вы могли не позвать меня идти с вами! Вы — плохой друг. — Но, Софья Евгеньевна, я шел с Мариной Ивановной. — Так я об этом именно, что вы шли с Мариной Ивановной! — Но . . . я не знал, Софья Евгеньевна, откуда я мог знать, что вам вдруг захочется идти со мной! — Да не с вами, дикий вы человек, а с нею: что *вы с* нею идете — а не я!! Он, Марина, тогда ужасно обиделся, назвал меня комедианкой и еще чем-то . . . А я ведь — от всей души. А зато (блаженные хмурые глаза изнизу) — через два месяца — может быть даже день в день — я с вами, и не рядом на улице, а вот так, гляжу на вас глазами, и обнимаю вас руками, и тепло, а не холодно, и мы никуда не придем, где нужно прощаться, потому что я уже пришла, мы уже пришли, и я от вас, Марина, не уйду никуда — никогда . . .

Ново-Девичьего кладбища уже нет, и той окраины уже нет, это теперь центр города. Хрустальный крест, не сомневаюсь, стоит и сияет на другом кладбище, но что сталось с его соседом, простым дубовым крестом?

Володя, как я, любил все старое, так же поражая каждое окружение «новизной» своих мнений и так же ставя эту новизну в кавычки — усмешки. Старое — но по-юному. Старое — но не дряхлое. Этого достаточно было, чтобы его не понимали ни ревнители старого мира, ни нового. Старое — но по-своему, бывшее — по еще никогда не бывшему. Еще и потому ему было так хорошо со мной, и еще в первую встречу у развязно-ру́кой и-но́гой дамы я заметила на его руке большой старинный серебряный перстень — печатку. Позже я спросила: — Откуда он у вас? Ваш, то есть... — Нет, М. И., *не* фамильный — купил случайно, потому что мои буквы: В. А. (Пауза.) А З-ский *свой* начищает мелом. — И не знает, что там написано, потому что он — китайский. А вы не находите, что мелом — как-то мелко? — Я *своего* мелом не натираю, я люблю, когда серебро — темное, пусть будет темным — как его происхождение.

(— «А З-ский — свой»..., то есть — мой, и Володя это — знал. Этот мел тут же обернулся девятистишием:

Сядешь в кресла, полон лени.
Стану рядом на колени —
До дальнейших повелений,

С сонных кресел свесишь руку.
Подыму ее без звука,
С перстеньком китайским — руку.

Перстенек начищен мелом.
Счастлив ты? Мне нету дела!
Так любовь моя велела.

Это «мне нету дела» я потом, в саморучной книжке стихов к нему, которую ему подарила, разбила на: мне нет — удела...)

Юрию З. — серебряный китайский, Павлику А. — немецкий чугунный с золотом, с какого-нибудь пленного или убитого — чугунные розы на внутреннем золотом ободе: с золотом — скрытым, зарытым. При нем — стихи:

Дарю тебе железное кольцо:
Бессонницу — восторг — и безнадежность.
Чтоб не глядел ты девушкам в лицо
Чтоб позабыл ты даже слово — нежность.

Чтоб голову свою в шальных кудрях
Как пенный кубок возносил в пространство,
Чтоб обратило в угль — и в пепл — и в прах
Тебя — сие железное убранство.

Когда ж к твоим пророческим кудрям
Сама Любовь проникнет красным углем,
Тогда молчи и прижимай к губам
Железное кольцо на пальце смуглом.

Вот талисман тебе от красных губ,
Вот первое звено в твоей кольчуге —
Чтоб в буре дней стоял один — как дуб,
Один — как Бог в своем железном круге.

(Москва, март 1919 г.)

Судьбы китайского я не знаю (знаю только: я первая подарила ему кольцо!), судьба чугунного — следующая:

Время шло. Однажды приходит — кольца нет. — Потеряли? — Нет, отдал его распилить, то есть сделать *два*. (Павлик, это будет меньше!) Два обручальных. Потому что я женюсь — на Наташе. — Ну, час вам добрый! А стихи — тоже распилили надвое?

Потом — мы уже видались редко — опять нет кольца. — Где же кольцо, Павлик, то есть полукольцо? — М. И., беда! Когда его распилили — оба оказались очень тонкими, Наташино золотое сломалось, а я ходил в подвал за углем и там его закатил, а так как оно такое же черное . . . — То давно уже сожжено в печке, на семейный суп. Роскошь все-таки — варить пшено на чугунных военнопленных розах, *мной* подаренных!

О судьбе же Володиного — собственного — речь впереди.

Кроме кольца у Володи из старины еще была — пистоль, «гишпанская пиштоль», как мы ее называли, и эту пистоль я, из любви к нему, взяла в свое Приключение, вручила ее своей (казановиной) Генриэтте:

— Ах, не забыть гишпанскую пиштоль,
Подарок твой!

Потому что эту «пиштоль» он мне на Новый год принес и торжественно вручил — потому что он, как я, не мог вынести, чтобы другому вещь до страсти нравилась и держать ее у себя.

Эту пиштоль мне в России пришлось оставить, зарыть ее на чердаке вместе с чужой мальтийской шпагой, о которой речь впереди, вернее — тело ее осталось в России, душу ее и в Приключении перевезла через границу — времени и зримости.

К этому Новому году я им всем троим вместе написала стихи:

Друзья мои! Родное триединство!
Роднее чем в родстве!
Друзья мои в советской — якобинской —
Маратовой Москве!

С вас начинаю, пылкий А-ский,
Любимец хладных Муз,
Запомнивший лишь то, что — панны польской
Я именем зовусь.

И этого — виновен холод братский
И сеть иных помех! —
И этого не помнящий — З-ский!
Памятнейший из всех!

И, наконец — герой из лицедеев —
От слова *бытиё*
Все имена забывший — А-в!
Забывший и свое!

И, упражняясь в старческом искусстве
Скрывать себя, как черный бриллиант,
Я слушаю вас с нежностью и грустью,
Как древняя Сивилла — и Жорж Занд.

Вот тогда-то Володя А. и принес мне свою пиштоль — 1 января 1919 года.

К этому Новому Девятнадцатому Году, который я вместе с ними встречала, я Третьей Студии, на этот раз — всей, подарила свою древнюю серебряную маску греческого царя, из раскопок. Маска — это всегда трагедия, а маска царя — сама трагедия. Помню — это было в театре — их благодарственное шествие, вроде Fackelzug'a, который Беттине устроили студенты.

... Как древняя Сивилла — и Жорж Занд ...

Да, да, я их всех, на так немного меня младших или вовсе ровесников, чувствовала — сыновьями, ибо я давно уже была замужем, и у меня было двое детей, и две книги стихов — и столько тетрадей стихов! — и столько покинутых стран! Но не замужество, не дети, не тетради, и даже не страны — я *помнить* начала с тех пор, как начала жить, а помнить — стареть, и я, несмотря на свою бьющую молодость, была стара, стара, как скала, не помнящая, когда началась —

Эти же были дети — и актеры, то есть двойные дети, с единственной мечтой о том, что мне так легко, так ненужно, так само далось — имени.

— О, как я бы хотел славы! Так, идти, и чтобы за спиной шепот: — Вот идет А-ский!

— Да ведь это же *барышни* шепчут, Павлик! Неужели — лестно?! Я бы на вашем месте, внезапно обернувшись и пойдя на них, как на собак: — Да, А-ский! а дальше?

Им, кроме Володи, я вся — льстила. Я их — любила. Разница.

Звериной (материнской) нежности у меня к Володе не было — потому что в нем, несмотря на его юность, ничего не было от мальчика — ни мальчишеской слабости, ни мальчишеской прелести.

Чары в нем вообще не было: норы не было, жары и жара не было, тайны не было, загадки не было — была задача: его собственная — себе.

Этому не могло быть холодно, не могло быть голодно, не могло быть страшно, не могло быть тоскливо. А если все это было (и — наверное было), то не мое дело было мешать ему, нежностью, превозмогать холод, голод, страх, тоску: *расти.*

Была прохладная нежность сестры, уверенной в силе брата, потому что это *ее* сила, и благословляющей его на все пути. И — все его пути.

Была Страстная суббота. Поздний вечер ее. Убитая людским и дружеским равнодушием, пустотой дома и пустотой сердца (Сонечка пропала, Володя не шел), я сказала Але:

— Аля! Когда люди так брошены людьми, как мы с тобой — нечего лезть к Богу — как нищие. У него таких и без нас много! Никуда мы не пойдем, ни в какую церковь, и никакого Христос Воскресе не будет — а ляжем с тобой спать — как собаки!

— Да, да, конечно, милая Марина! — взволнованно и убежденно залепетала Аля, — к таким, как мы, Бог сам должен приходить! Потому что мы застенчивые нищие, правда? Не желающие омрачать его праздника.

Застенчивые или нет, как собаки или нет, но тут же улеглись вместе на единственную кровать — бывшую прислугину, потому что жили тогда в кухне.

Теперь я должна немножко объяснить дом. Дом был двухэтажный, и квартира была во втором этаже, но в ней самой было три этажа. Как и почему — объяснить не могу, но это было так: низ, с темной прихожей, двумя темными коридорами, темной столовой, моей комнатой и Алиной огромной детской, верх, даже два чердака, сначала один, потом

другой, и один другого — выше, так что, выходит — было четыре этажа.

Все было огромное, просторное, запущенное, пустынное, на простор и пустоту помноженное, и тон всему задавал чердак, спускавшийся на второй чердак и оттуда распространявшийся на все помещение вплоть до самых отдаленных и как будто бы сохранных его углов.

Зиму 1919 г., как я уже сказала, мы — Аля, Ирина и я — жили в кухне, просторной, деревянной, залитой то солнцем, то луною, а когда трубы лопнули — и водою, с огромной разливанной плитой, которую мы топили неудавшейся мушиной бумагой какого-то мимолетного квартиранта (бывали — и неизменно сплывали, оставляя все имущество: этот — клейкую бумагу, другой — тысяч пять листов неудавшегося портрета Розы Люксембург, еще другие — френчи и галифе... и все это оставалось — пылилось — и видоизменялось — пока не сжигалось).

Итак, одиннадцать часов вечера Страстной субботы. Аля, как была в платье — спит, я тоже в платье, но не сплю, а лежу и жгу себя горечью первой в жизни Пасхи без Христос Воскресе, доказанностью своего собачьего одиночества... Я, так старавшаяся всю зиму: и дети, и очереди, и поездка за мукой, где я чуть голову не оставила, и служба в Наркомнаце, и рубка, и топка, и три пьесы — начинаю четвертую — и столько стихов — и такие хорошие — и ни одна собака...

И вдруг — стук. Легкий, резкий, короткий. Команда стука. Одним куском — встаю, тем же — не разобравшимся на руки и ноги — вертикальным пластом пробегаю темную кухню, лестницу, прихожую, нащупываю задвижку — на пороге Володя, узнаю по отграниченности даже во тьме и от тьмы.

— Володя, вы?

— Я, М. И., зашел за вами — идти к заутрене.

— Володя, заходите, сейчас, я только подыму Алю.

На верху, шепотом (потому что это большая тайна и потому что Христос еще *не* воскрес): — Аля! Вставай! Володя пришел. Сейчас идем к заутрене.

Разглаживаю впотьмах ей и себе волосы, бегом сношу ее по темнее ночи лестнице... — Володя, вы еще здесь? Го-

лос из столовой: — Кажется — здесь, М. И., я даже себя потерял, — так темно.

Выходим.

Аля, продолжая начатое и за спешкой недоконченное:

— Я же вам говорила, Марина, что Бог к нам сам придет. Но так как Бог — дух, и у него нет ног, и так как мы бы умерли от страху, если бы его увидели . . .

— Что? Что она говорит? — Володя. Мы уже на улице.

Я, смущенная: — Ничего, она еще немножко спит . . .

— Нет, Марина, — слабый отчетливый голос изнизу, — я совсем не сплю: так как Бог не мог сам за нами прийти — идти в церковь, то Он и послал за нами Володю. Чтобы мы еще больше в Него верили. Правда, Володя?

— Правда, Алечка.

Церковь Бориса и Глеба: наша. Круглая и белая, как просфора. Перед этой церковью, как раз в часы службы, целую зиму учат солдат. Внутри — служат, а снаружи — маршируют: тоже служат. Но сейчас солдаты спят.

Входим в теплое людное многосвечное сияние и слияние. Поют женские голоса, тонко поют, всем желанием и всей немощью, тяжело слушать — так тонко, где тонко там и рвется, совсем на волоске — поют, — совсем как тот профессор: «У меня на голове один волос, но зато — густой» . . . Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня! . . Этого батюшку я знаю: он недавно служил с патриархом, который приехал на храмовый праздник — в черной карете, сияющий, слабый . . . И Аля первая подбежала к нему, и просто поцеловала ему руку, и он ее благословил . . .

— М. И., идемте?

Выходим с народом — только старухи остаются.

— Христос Воскресе, М. И.!

Воистину Воскресе, Володя!

Домой Аля едет у Володи на руках. Как непривычный к детям, несет ее неловко — не верхом, на спине, и не сидя, на одной руке, а именно несет — на двух вытянутых, так что она лежит и глядит в небо.

— Алечка, тебе удобно?

— Бла-женно! Я в первый раз в жизни так еду — лежа, точно царица Савская на носилках!

(Володя, не ожидавший такого, молчит.)

— Марина, подойдите к моей голове, я вам что-то скажу! Чтобы Володя не слышал, потому что это — большой грех. Нет, нет, не бойтесь, не то, что вы думаете! Совсем приличное, но для Бога — неприличное!

Подхожу. Она, громким шепотом: — Марина! А правда, те монашки пели, как муха, которую сосет паук. Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня!

— Что она говорит?

Аля, приподнимаясь: — Марина! Не повторяйте! Потому что тогда Володя тоже соблазнится! Потому что эта мысль у меня была от диавола, — ах, Господи, что я опять сказала! Назвала это гадкое имя!

— Алечка, успокойся! — Володя. (Мне: — Она у вас всегда такая? Я: — Отродясь.) — Вот мы уже дома, ты сейчас будешь спать, а утром, когда проснешься . . .

В его руке темное, но явное очертание яичка.

Аля водворена и уложена. Стоим с Володей у выходной двери.

— М. И., Аля у вас крепко спит?

— Крепко. Не бойтесь, Володя, она никогда не просыпается!

Выходим. Идем Пречистенским бульваром на Москва-реку. Стоим на какой-то набережной (все это как сон) — смотрим на реку . . . И сейчас, когда пишу, чувствую верхними ребрами камень балюстрады, через которую мы оба, неизвестно почему, странно перегнулись, чтобы разглядеть: прошлое? будущее? или сущее, внутри творящееся?

Это была ночь перил, решеток, мостов. Мы все время что-

то высматривали и — не высмотрев здесь — переходили на очередную набережную, на очередной мост, точно где-то было определенное место, откуда — нам вдруг все станет ясно во все концы света . . . А может быть — совместно — со всем этим: Москва-рекой, мостами, местами, крестами — прощались? Мнится мне (а может быть только снится мне), что мы на одном из наших сторожевых постов, подходя к нему, встретили Павлика — отходящего, очевидно тоже и то же ищущего. (В ту Пасхальную ночь 1919 г. вся Москва была на ногах и вся, приблизительно, в тех же местах — возлекремлевских.)

А может быть друг с другом — прощались? Слов этой ночи, долгой, долгой, многочасовой и повсеместной — ибо вышли мы в час, а возвращались уже при полном свете позднего весеннего рассвета — слов этой ночи — я не помню. Вся это ночь была — жест: его ко мне. Акт — его ко мне.

В эту ночь, на одном из тех мест, над одними из тех перил, в тесном плечевом соседстве со мной, им было принято, в нем тверже камня утвердилось решение, стоившее ему жизни. Мне же целой вечности — дружбы, за один час которой я, по слову Аксакова, отдала бы весь остаток угасающих дней . . .

Как это началось? (Ибо сейчас, вопреки тем мостам — начинается.)

Должно быть случайно, счастливым и заранее in den Sternen geschriebenen случаем ее прихода — в его приход.

— Как, Володя, вы здесь? Вы — тоже бываете у Марины? Марина, я ревную! Так вы не одна сидите, когда меня нет?

— А вы, Сонечка, одна сидите, когда вас нет?

— Я! Я — дело пропащее, я со всеми сижу, я так боюсь смерти, что когда никого нет и не может быть — есть такие ужасные часы! — готова к кошке залезть на крышу — чтобы только не одной сидеть: не одной умереть, Марина! — Володя, а что вы здесь делаете?

— То же, что вы, Софья Евгеньевна.

— Значит: любите Марину. Потому что я здесь ничего другого не делаю и вообще на свете — не делаю. И делать не намерена. И не намерена, чтобы мне другие — мешали.

— Софья Евгеньевна, я могу уйти. Мне уйти, Марина Ивановна?

— Нет, Володечка.

— А мне уйти? (Сонечка, с вызовом.)

— Нет, Сонечка. (Пауза.) А мне, господа, уйти?

Смех.

— Ну, Марина, сделаем вид, что его нет. Марина! Я к вам от Юры: представьте себе, у него опять начинается флюс!

— Значит, мне опять придется писать ему стихи. Знаете, Сонечка, мои первые стихи к нему:

Beau ténébreux, вам грустно, вы больны:
Мир неоправдан — зуб болит! Вдоль нежной
Раковины щеки — фуляр — как ночь . . .

— Фу-ляр? Клетчатый? Синий с черным? Это я его ему подарила — еще тогда — это год назад было? Я отлично помню, у меня был нашейный платок — я ужасно люблю нашейные платки, а этот особенно! — и я к нему пришла — а у него флюс — а я обожаю, когда больны! А особенно — когда красивые больны — тогда они добрее . . . (пауза) . . . когда леопард совсем издыхает, он страшно добрый, ну, добряк!! — и у него такая ужасно-уродливая повязка — вязаная — нянькина, и я, подумать не успев . . . Потом — угрызалась: папин фуляр, а у меня от папы — так мало осталось . . .

— Сонечка, хотите отберу? И даже выкраду?

— Что́ вы, Марина, он теперь его ужасно полюбил: каждый флюс носит!

Володя, созерцательно: — Флюс — это неинтеллигентная болезнь, Софья Евгеньевна.

— Что-о? Дурак!

Володя, так же: — Ибо она от запущенного зуба, а запущенные зубы, в наш век . . .

— Идите вы ко всем чертям: зубным врачам! «Неинтел-

лигентная болезнь!» Точно бывают — интеллигентные болезни. Болезнь, это судьба: нужно же чтобы человек от чего-нибудь умер, а то жил бы вечно. Болезнь, это судьба — и всегда, а ваша интеллигентность вчера началась и завтра кончилась, уже сегодня — кончилась, потому что посмотрите, как мы все живем? Марина руками разрывает шкафы красного дерева, чтобы сварить миску пшена. Это — интеллигентно!

— Но Марина Ивановна и разламывая шкафы остается интеллигентным человеком.

— Которым никогда не была. Правда, Марина, что вы никогда не были интеллигентным человеком?

— Никогда. Даже во сне, Сонечка.

— Я так и знала, потому что это все: и стихи, и сама Марина, и синий фонарь, и это чучело лисы — волшебное, а не интеллигентное. «Интеллигентный человек» — Марина! — это почти такая же глупость, как сказать о ней «поэтесса». Какая гадость! О, как вы глупы, Володя, как глупы!!

— Софья Евгеньевна, вы мне только что сказали, что я — дурак, а «глупы» — меньше, так что вы . . . разжижаете впечатление.

— А вы — еще сгущаете мою злобу. Потому что я страшно злюсь на вас, на ваше присутствие, чего вы у Марины не видали, вы актер, вам в студии нужно быть . . .

(Пауза.)

— . . . Я не знаю, кто вы для Марины, но — Марина меня больше любит. Правда, Марина?

(Беру ее ручку и целую.)

— Ну, вот я и говорю — больше. Потому что Марина вам рукй никогда не целовала. А если и скажете, что целовала . . .

(Володя: — Софья Евгеньевна!!)

. . . то только из жалости, за то, что вы — мужчина, бессловесное существо, неодушевленный предмет, единственный неодушевленный предмет во всей грамматике. Я ведь знаю, как мы вам руки целуем! У Марины об этом раз навсегда сказано: — «Та-та-та-та . . . Прости мне эти слезы — Убожество мое и божество!» Только — правда, Марина? —

сначала божество, а потом — убожество! (Чуть не плача.) И Марина вас, если я попрошу, выгонит. Правда, Марина?

Я, целуя другую ручку: — Нет, Сонечка.

— А если не выгонит, то потому что она вежливая, воспитанная, за границей воспитывалась, но внутренно она вас — уже выгнала, как я только вошла — выгнала. И убирайтесь, пожалуйста, с этого места, это — мое место.

— Сонечка, вы сегодня — настоящий бес!

— А вы думали — я всегда шелковая, бархатная, шоколадная, кремовая, со всеми — как с вами? Ого! Вам ведь Вахтанг Левanович говорил, что я — бес? Бес и есть. Во всяком случае — бешусь. Володя, вы умеете заводить граммофон?

— Умею, Софья Евгеньевна.

— Заведите, пожалуйста, первое попавшееся, чтобы мне самой себя не слышать.

Первое попавшееся было Ave Maria — Гуно. И тут я своими глазами увидела чудо: музыки над бесом. Потому что та зверская кошка с выпущенными когтями и ощеренной мордочкой, которой с минуты прихода Володи была Сонечка, при первых же звуках исчезла, растворилась сначала в вопросе своих огромных, уже не различающих меня и Володи глаз, и тут же в ответе слез — ну прямо хлынувших: — Господи Боже мой, да что же это такое, да ведь я это знаю, это — рай какой-то.

— Ave Maria, Сонечка!

— Да разве это может быть в граммофоне? Граммофон, он, я думала, это «Танец апашей» или по крайней мере — танго.

— Это *мой* граммофон, Сонечка, он *все* умеет. Володечка, переверните пластинку.

Оборот пластинки был — «Не искушай меня без ну́жды», Глинки, одна скрипка, без слов, но с явно — явней и полней, произнесенных бы — слышимыми бессмертными баратынскими.

— Марина! Я и это знаю! Это папа играл — когда еще был здоров . . . Я под это — всё раннее детство засыпала! «Не искушай меня без ну́жды» . . . и как чудно, что без ну́жды, потому что так в жизни не говорят, так только *там* говорят, где никакой ну́жды уже ни в чем — нет, — в раю, Марина!

И я сейчас сама в раю, Марина, мы все в раю! И лиса в раю, и волчий ковер в раю, и фонарь в раю, и граммофон в раю...

— А в раю, Софья Евгеньевна, — тихий голос Володи, — нет ревности, и все друг другу простили, потому что увидели, что и прощать-то нечего было, потому что — вины не было... И нет местничества: все на своем. А теперь я, Марина Ивановна, пойду.

Сонечка в слезах: — Нет, нет, Володя, ни за что, разве можно уходить — после такой музыки, одному — после такой музыки, от Марины — после такой музыки... (Пауза, еле слышно) — От меня...

...Я в жизни себе не прощу — своего нынешнего поведения! Потому что я ведь думала, что вы — пустой красавец — и туда же к Марине, чтобы она вам писала стихи, а вы бы потом хвастались!

— Марина Ивановна мне не написала ни одной строки. Правда, Марина Ивановна?

— Правда, Володечка.

— Марина! Значит, вы его — *не* любите?

Я, полушутя: — Так люблю, что и сказать не могу. Даже в стихах — не могу.

— Меньше или больше, чем Юру?

(Володя: — Софья Евгеньевна!! Она: — Забудьте, что вы в комнате: мне это нужно знать — сейчас.)

Я: — Володя мой друг на всю жизнь, а Ю. А. ни часу не был мне другом. Володю я с первой минуты назвала Володей, а Ю. А. — ни разу Юрой, разве что в кавычках и заочно.

Сонечка, сосредоточенно, даже страдальчески:

— Но — больше или меньше? Больше или меньше?

— Володю — несравненно —. Точка.

— А теперь, Марина Ивановна, я решительно пойду.

И — пошло. Так же как раньше они никогда у меня не встречались, так теперь стали встречаться — всегда, может быть оттого, что раньше Володя бывал реже, а теперь стал

приходить через вечер, а под конец каждый вечер — ибо дело явно шло к концу, еще не названному, но знаемому.

Отъезды начались — с Ирины.

— Дайте мне, барыня, Ирину с собой в деревню — вишь она какая чахлая. Да разве раздобреешь — с советского молока? (Так в 1919 г. в Москве сами дети прозвали — воду.) А у нас молоко — деревенское, и при царе белое, и без царя белое, и картошка живая, не мороженная, и хлеб без извести. И вернется к вам Ирина — во-о какая!

Кухня. Солнце во все два окна. Худая, как жердь владимирская Надя с принаряженной Ириной на руках. Перед ними — Сонечка, прибежавшая проститься.

— Ну, Ирина, расти большая, красивая, счастливая!

Ирина с лукавой улыбкой: — Галли-да́! Галли-да́!

— Чтобы щечки твои стали розовые, чтобы глазки твои — никогда не плакали, чтобы ручки что взяли — не отпускали, чтобы ножки — бегали . . . никогда не падали . . .

Ирина, еще никогда не видавшая слез, во всяком случае таких, бесцеремонно ловит их у Сонечки на глазах.

— Мок-рый . . . мок-рый . . . Газ-ки мок-рый . . .

— Да, мокрые, потому что это — слезы . . . Слезы. Но не повторяй, пожалуйста, этого тебе знать не надо.

— Барышня Софья Евгеньевна, нам на вокзал пора, ведь мы с Ириной — пешие, за час не дойдем.

— Сейчас, няня, сейчас. Что бы ей еще такого сказать, чтобы она поняла? Да, няня, пусть она непременно молится Богу, каждое утро и каждый вечер, — просто так: — Спаси. Господи, и помилуй папу, маму, Алю, няню . . .

Ирина: — Галли-да́! Галли-да́!

— И Галлиду́, потому что она ведь меня никогда Соней не звала, а я не хочу, чтобы она меня забыла, я ведь в жизни так не любила ребенка, как тебя. — И Галлиду́. (Бог уже будет знать!) — Няня, не забудете?

— Что вы, Софья Евгеньевна, да Ирина сама напомнит, еще все уши мне Галлидо́й прожужжит . . .

Ирина, что-то понимая, с невероятным темпераментом: — Галлида́, Галлида́, Галлида́, Галлида́, Галлида́ . . . (и уже явно дразнясь:) Даллига́, Даллига́, Даллига́ . . .

— Бог с тобой, Ирина! до бабы-яги договоришься! — А

говорите — забудет! Теперь всю дорогу не уймется. Ну, прощайтесь, Софья Евгеньевна, а то вправду опоздаем!

— Ну, прощай, моя девочка! Ручку... Другую ручку... Ножку... Другую ножку... Глазок... Другой глазок... Лобик — и всё, потому что в губы целовать нельзя, и вы, няня, не давайте, скажите — барыня не велела — и всё.

Ну, прощай моя девочка! (Трижды крестит.) Я за тебя тоже буду молиться. Поправляйся, возвращайся здоровая, красивая, румяная! Няня, берегите!

Тут же скажу, что Ирина свою Галлидý, Галлидá свою Ирину больше никогда не увидела. Это было их последнее свидание, 7 июня 1919 г.

Но около пяти месяцев спустя Ирина, оставленная Сонечкой двух лет трех месяцев, свою Галлидý еще помнила, как видно из Алиной записи — в ноябре 1919 г.

«У нас есть одна знакомая, которой нет в Москве. Ее зовут Софьей Евгеньевной Голлидэй. Мы в глаза ее называем Сонечка, а за глаза Сонечка Голлидэй. Ирина ее взлюбила. Сонечка уезжала еще и раньше, а Ирина все помнила ее, и теперь еще говорит и поет: Галлидá! Галлидá!»

— Володечка, вы никогда не были в Марининой кухне?

— Нет, Софья Евгеньевна. Впрочем раз, на Пасху.

— Господи, какой вы бедный! И никогда не видели Ирины?

— Не видел, Софья Евгеньевна. Впрочем раз, тогда же — но она спала.

— Господи, как можно дружить с женщиной и не знать сколько у ее ребенка зубов? Вы ведь *не* знаете, сколько у Ирины зубов?

— Не знаю, Софья Евгеньевна.

— Значит, это одна умственность, вы дружите с одной

головой Марины. — Господи, у кого это была *одна* голова?!

— У нас с вами, Софья Евгеньевна.

— Дурак! Я говорю: *одна* голова, без ничего... Ах, это у Руслана и Людмилы! — Как мне бы от такой дружбы было холодно! Ледяной дом какой-то... О, насколько я счастливее, Володя! У меня и нижняя Марина, хрустальная, фонарная, под синим светом как под водою, потому что ведь это — морское дно, а все гости — чудовища! — и верхняя Марина, над плитой, над пшеном, с топором! с пропиленным коричневым подолом, который — вот — целую! — уважаемая, обожаемая! И ведь только эти две — Марина, эти все — Марина, потому что я вас, Марина, не вижу — только в замке, только на башне...

— В свободное от башни время я пасла бы баранов...

Володя:

— И слушали бы — голоса.

По Сонечкиному началу с Володей я отдаленно стала понимать, почему мужчины ее не любят. Всякое недопонимание, всякое противоречие, даже всякое хотя бы самое скромное собственное мнение неизменно вызывало у нее: дурак! Точно этот дурак у нее уже был заряжен и только ждал сигнала, которым служило — все. С ней нужно было терпение, незамечание — Володины терпение и незамечание.

Я всегда провожала ее вправо, в сторону Поварской, уходящая Сонечка для меня была светающая Поварская, белая улица без лавок, похожая на реку, — точно никакого *влево* у моего дома не было.

И только раз случилось иначе: была ночь, и меня вдруг осенило, что я еще не подарила Сонечке своего фонтана.

На совершенно пустой игрушечной лунной площади — днем — Собачьей, сейчас — Севильской, где только и было

живого, что хоровод деревец, тонкой серебряной струечкой, двойным серебром: ушным и глазным, — сплошным . . .

— Фонтан, Марина?

—*Маринин* фонтан, Сонечка! Потому что в этом доме Пушкин читал Нащокину своего Годунова.

— Я не люблю Годунова. Я люблю — Дон-Жуана. О, какое здесь все круглое, круглое, круглое!

И — точно ветром отнесло — волной вынесло — как-то без участья ног — уже на середине площади.

И вот, подняв ручку на плечо невидимого и очень высокого танцора, доверчиво вложив ему в руку — левую, чуть откинув стан на *его* невидимую левую, чуть привстав на носках и этим восполняя отсутствие каблуков, овеваемая белым платьем и овевая меня им . . .

Она его, фонтан, именно обтанцовывала, и этот фонтан был — урна, это было обтанцовывание урны, обтанцовывание смерти . . .

Das Mädchen und der Tod.

— Марина, всё у меня уменьшительное, все — уменьшительные: все подруги, вещи, кошки, и даже мужчины, — всякие Катеньки, кисеньки, нянечки, Юрочки, Павлики, теперь — Володечка . . . Точно я ничего большого произнести не смею. Только вы у меня — *Марина*, такое громадное, такое длинное . . . О, Марина! Вы — мое увеличительное.

Сонечка часто думала вслух, я это сразу узнавала по ее отсутствующим, донельзя раскрытым спящим глазам, глазам — первого раза («Разве это бывает — такие метели, любови . . .»).

Тогда она вся застывала, и голос становился монотонный, несказывающий, тоже спящий, как глаза, голос, которым матери убаюкивают детей, а дети — себя. (А иногда и матери — себя.) И если она на реплики — мою или Володину — отвечала, то делала это как-то без себя, тоже во сне, без

интонации, как настоящая сомнамбула. Нет, не *думала* вслух, а вслух — сновидела.

— ... Вот одного я еще никогда не любила — монаха. Не пришлось.

— Фу, Сонечка!

— Нет, Марина, вы не думайте — я не про православного говорю, бородатого, а про бритого: католического то есть. Может быть совсем молодого, может быть уже старого — неважно. В огромном, холодном как погреб монастыре. И этот монах один живет — была чума и все умерли, вымерли, он один остался — творить Божье дело ... Один из всего ордена. Последний. И этот орден — он.

— Софья Евгеньевна, — трезвый голос Володи, — позвольте вам сказать, что данный монастырь не есть весь орден. Орден не может вымереть оттого, что вымер монастырь. Может вымереть монастырь, но не орден.

— Последний из всего ордена, потому что вымерли *все* монастыри ... Две тысячи триста тридцать три монастыря вымерли, потому что это средние века и чума ... А я — крестьянка, в белой косынке, и в полосатой юбке, и в таком корсаже — со скрещенными лентами — и я одна выжила из всей деревни — потому что монахи всё вокруг зачумили (о, Марина, я их безумно боюсь! Я говорю про католических: птицы, черти какие-то!) — и ношу ему в монастырь — молоко: от последней козы, которая еще не околела, — просто ставлю у порога его кельи.

— А ваш монах — пьет молоко? — Володя с любопытством. — Потому что ведь иногда — пост ...

— ... И вот, я однажды прихожу — вчерашнее молоко не тронуто. С бьющимся сердцем вхожу в келью — монах лежит — и тут я впервые его вижу: совсем молодой — или уже немножко состарившийся, но *бритый* — и я безумно его люблю — и я понимаю, что это — чума.

(Внезапно вскакивая, соскакивая, просыпаясь.)

— Нет! А то так вся история уже кончилась, и он не успел меня полюбить, потому что когда чума — не до любви. Нет, совсем не так. *Сначала* любовь, *потом* — чума! Марина, как сделать, чтобы вышло — *так*?

— Увидеть монаха накануне чумы. В его последний нормальный день. День — много, Сонечка!

— Но почем я буду знать, что у него завтра будет чума? А если я не буду знать, я не посмею ему сказать, потому что говорю-то я ему только потому, что он сейчас умрет, и слушает-то он меня только от смертной слабости!

Володя созерцательно: — Чума начинается с насморка. Чихают.

— Это — докторская чума: чихают, а моя — пушкинская, там никто не чихал, а все пили и целовались. — Так как же, Марина?

— Подите к нему на исповедь: и все сказать должны, и слушать обязан. И не грех, а христианский долг.

— О, Марина! Какой вы, какой вы — гений! Значит я прихожу к нему в часовню — он стоит на молитве — один из всего ордена — и я становлюсь на колени...

(Володя: — И он на коленях, и вы на коленях? Непластично. Лбами стукнетесь.)

— И он — встает, и я, с колен: — Брат, я великая грешница! А он спросит: — Почему? А я: — Потому, что я вас люблю. А он: — Бог всех велел любить. А я: — Нет, нет, не так, как всех, а больше всех, и больше никого, и даже больше Бога! А он: — О-о-о-! Милая сестра, я ничего не слышу, у меня в ушах огромный ветер, потому что у меня начинается чума! — и вдруг шатается — клонится — и я его поддерживаю, и чувствую как сквозь рясу бьется его сердце, безумно бьется! безумно бьется! — и так веду, вывожу его из часовни, но не в келью, а на зеленую лужайку, и как раз первое деревце цветет — и мы садимся с ним под цветущее деревце — и я кладу его голову к себе на колени... и тихонько ему напеваю... Ave Maria, Марина! И все слабее, и слабее, потому что у меня тоже — чума, но Бог милостив, и мы *не* страдаем, а у меня чудный голос — Господи, какой у меня голос! и уже не одно деревце цветет, а все, потому что они торопятся, знают, что у нас — чума! — целый цветущий ход, точно мы женимся! — и мы уже не сидим, а идем, рука об руку, и не по земле, а немножко над землей, *над* маргаритками, и чем дальше — тем выше, мы уже на пол-аршина от земли, уже на аршин, Марина! на целую сажень! и теперь мы уже над деревцами идем... над облаками идем... (Совсем тихо и вопрошающе.) — А можно — над звездами?

Протирая глаза, от всей души:
— Вот, Марина, я и любила — монаха!

— ... А жить мне приходится с такими — другими! Потому что мой монах сразу все понял — и простил — и исправил, без всяких моих слов, а сколько я говорю, Марина, и объясняю, из кожи, из глаз, из губ — лезу, и никто не понимает, даже Евгений Багратионыч — с его пресловутой «фантазией»!

Впрочем, у него как раз на это есть некоторые резоны. Я в самом начале с ним ужасно оскандалилась. У нас в Студии зашел разговор об о́бразах.

— Образа́х, Сонечка!

— Нет, об о́бразах. Быть — в образе. Кто в образе — кто нет, и так далее. А я говорю: — А Евгений Багратионыч, по-моему, в образе Печорина. Все: — Вот — глупости! Печорин — это сто лет назад, а Евгений Багратионыч — сама современность, театр будущего, и так далее. Я и говорю: — Значит я не поняла, я не про идеи говорила, а про лицо — «и был человек создан по образу и подобию». Потому что, по-моему, Евгений Багратионыч страшно похож на Печорина: и нос, и подбородок, и геморроидальный цвет лица.

Я: — Что-о?

Сонечка, кротко: — *То,* Марина, то есть точь-в-точь теми словами. Тут уже крик поднялся, все на меня накинулись и даже Евгений Багратионыч: — «Софья Евгеньевна, есть предел всему — и даже вашему языку». А я — настаиваю: — «Что ж тут обидного? Я всегда у Чехова читаю, и у Потапенки, и никакой обиды нет — раз такие великие писатели ...» — «А что, по-вашему, значит геморроидальный?» — «Ну, желтый, желчный, горький, разочарованный, — ну, — геморроидальный». — «Нет, Софья Евгеньевна, это *не* желтый, не желчный, не горький, и не гордый, а это — болезнь». — «Да, да, и болезненный, болезнь печени, потому я должно быть и сказала — Печорин». — «Нет, Софья Евгеньевна, это не болезнь печени, а геморрой, — неужели вы никогда не читали в газетах?» — «Читала, и еще» ... — «Нет уж, пожалуйста — без *еще,* потому что в газетах — много болез-

ней и одна другой неназываемей. А *мой* совет вам: прежде чем говорить...» — «Но я так чувствовала это слово! Оно казалось мне таким печальным, волшебным, совсем желтым, почти коричневым — как вы!»

Потом — мне объяснили. Ах, Марина, это был такой позор! А главное я его очень часто употребляла в жизни и потом никак не могла вспомнить — кому...

Мне кажется, Евгений Багратионыч так окончательно и не поверил, что я — не знала. То есть поверить-то поверил, но как-то мне всей наперед не поверил. Он, когда я что-нибудь *очень* хочу сказать — а у меня это всегда видно! — так особенно — неодобрительно и повелительно — смотрит мне в рот, — ну, как змея на птицу! Точно его — взглядом — тут же закрывает! Рукой бы зажал — если б мог!

Еще о словах.

— Все у нас говорят: революция... революция... А я не знаю... Только какие-то слова — странные: карточка широкого потребления, точно корабль дальнего плавания, сразу вижу во-оду, и ничего кроме воды... Да ничего кроме воды по ней и нет... А — например: закрытый распределитель? Это совсем глухой старик, наглухо запертый, я ему: — дедушка! а он: — ась? — распредели, пожалуйста! — а он: — э-эх! и так — часами... А еще жагра — слово: точно чума, мор, цынга, а это всего-навсего — морковный чай.

—...Марина! Почему я так люблю плохие стихи? Так любя — ваши, и Павлика, и Пушкина, и Лермонтова... В полдневный жар, Марина, — как это *жжет!* Я всегда себя чувствую и им и ею, и лежу, Марина, в долине Дагестана и раной — дымлюсь, и одновременно, Марина, в кругу подруг задумчиво-одна...

И в чудный сон душа моя младая
Бог знает чем *всегда* погружена...

Все стихи написанные на свете — про меня, Марина, для меня, Марина, мне, Марина! Потому я никогда не жалею, что их не пишу . . . Марина, вы — поэт, скажите, разве важно — кто? Разве *есть* — кто? (сейчас, сейчас, сейчас зайду ум-за-разум! Но вы — поймете!) Марина, разве вы — все это написали? Знаю, что ваша рука, гляжу на нее и всегда только с великим трудом удерживаюсь, чтобы не поцеловать — на людях, не потому, что эти идиоты в этом видят рабство, институтство, истерику, а потому что вам, Марина, нужно целовать — на *всех* людях, бывших, сущих и будущих, а не на трех-четырех знакомых. И если я тогда, нечаянно, после той Диккенсовой ночи при Павлике поцеловала, то это — слабость, Марина, я просто не могла удержаться — сдержать благодарность. Но Павлик не в счет, Марина, — и как поэт — и немножко как собака, я хочу сказать, что он не совсем человек — с *двух* сторон . . . (И вы, Володя, не в счет: видите — и при вас целую, но вы не в счет — потому что я уж так решила: когда мы втроем, мы с Мариной — вдвоем . . .) А что при всех, у С-вых — это хуже, но вы так чудно сдали тому фокстерьеру — сдачи, бровью не поведя . . .) Я вам за всю вас, Марина, целую руку — руки — а вовсе не только за одни стихи, и за ваши шкафы, которые вы рубите, кажется — еще больше! Я всегда обижаюсь, когда говорят, что вы «замечательный поэт», и пуще всего, когда «гениальный». Это Павлик — «гениальный», потому что у него ничего другого за душою — нет, а у вас же — все, вся вы. Перед вами, Марина, перед тем, что есть — вы, все ваши стихи — такая чу-уточка, такая жалкая кро-охотка, — вы не обижаетесь? Мне иногда просто смешно, когда вас называют поэтом. Хотя выше этого слова — нет. И может быть дела — нет. Но вещи — есть. И все эти вещи — вы. Если бы вы не писали стихов, ни строчечки, были бы глухонемая, немая — как мы с Русалочкой, вы все равно были бы — та же: только с зашитым ртом. И я бы вас любила — нет, не: еще больше, потому что больше — нет, а совершенно так же — на коленях.

(Лицом уже из моих колен:)

— Марина! Знаете мой самый большой подвиг? еще больше, чем с тем красным носом (шарманщиком), потому что *не* сделать еще куда трудней, чем *сделать:* что я тогда, после

Метели, все-таки не поцеловала вам руку! Не рабство, нет, не страх глаз, — страх вас, Марина, страх вас разом потерять, или разом заполучить, (какое гнусное слово! заполучить, приобрести, завоевать — все гнуснее!) или разом — *наоборот*, страх —вас, Марина, ну, Божий страх, то, что называется — Божий страх, нет, еще не то: страх — повернуть ключ, проглотить яд — и что-то начнется, чего уж потом не остановить... Страх сделать *то*, Марина! «Сезам, откройся!» Марина, и забыть обратное слово! И никогда уже не выйти из той горы... Быть заживо погребенной в той горе... Которая на тебя еще и обрушится...

И просто — страх вашего страха, Марина. Откуда мне было знать? Всю мою жизнь, Марина, я одна была такая: слово, и дело, и мысль — одно, и сразу, и одновременно, так что у меня не было ни слова, ни дела, ни мысли, а только... какая-то электрическая молния!

Так о Метели: когда я услышала, ушами услышала:

— Князь, это сон — или грех?
— Бедный испуганный птенчик!
— *Первая я — раньше всех!* —
Ваш услыхала бубенчик!

Вот это *первая* и *раньше*, с этим ударением, как я бы сказала, у меня изо рта вынутое — Марина! у меня внутри — все задрожало, живьем задрожало, вы будете смеяться — весь живот и весь пищевод, все те самые таинственные внутренности, которых никто никогда не видел, — точно у меня внутри — от горла и вниз до колен — сплошь жемчуга, и они вдруг — все — ожили.

И вот, Марина, так любя ваши стихи, я бе-зумно, бе-зумно, безнадежно, безобразно, позорно, люблю — плохие. О, совсем плохие! Не Надсона (я перед ним преклоняюсь!) и не Апухтина (за «Очи черные»!), а такие, Марина, которых никто не писал и все — знают. Стихи из Чтеца-декламатора, Марина, теперь поняли?

Ее в грязи он подобрал,
Чтоб угождать ей — красть он стал.
Она в довольстве утопала
И над безумцем хохотала.

Он из тюрьмы ее молил:
Я без тебя душой изныл!
Она на тройке пролетала
И над безумцем хохотала,

И в конце концов — его отвезли в больницу, и —

Он умирал. Она плясала,
Пила вино и хохотала.

(О, я бы ее убила!) И кажется даже, что когда он умер и его везли на кладбище, она —

За гробом шла — и хохотала!

Но может быть это я уж сама выдумала, чтобы еще больше ее ненавидеть, потому что я такого никогда не видала: чтобы за гробом шли — и хохотали, — а вы?

Но вы может быть думаете, это — плохие? Тогда слушайте. О, Господи, забыла! забыла! забыла! забыла, как начинается, только помню — как кончается!

А граф был демонски-хорош!
. . . . . .
А я впотьмах точила нож, —
А граф был демонски-хорош!

Стойте, стойте, стойте!

Взметнулась красная шторá:
В его объятиях — сестра!

Тут она их обоих убивает, и вот, в последнем куплете, сестра лежит с оскаленным страшным лицом, а — *граф* был демонски-хорош!

А «бледно-палевую розу» — знаете? Он встречает ее в парке, а может быть в церкви, и ей шестнадцать лет, и она в белом платье...

И бледно-палевая роза
Дрожала на груди твоей.

Потом она, конечно, пускается в разврат, и он встречает ее в ресторане, с военными, и вдруг она его видит!

В твоих глазах дрожали слезы,
Кричала ты: — вина! скорей!
И бледно-палевая роза
Дрожала на груди твоей.

Дни проходили чередою,
В забвеньи я искал отрад,
И вот опять передо мною
Блеснул твой прежний милый взгляд.

Тебя семьи объяла проза,
Ты шла в толпе своих детей,
И бледно-палевая роза
Дрожала на груди твоей.

А потом она умерла, Марина, и лежит в гробу, и он подходит к гробу, и видит:

В твоих глазах застыли слезы . . .

— и потом уж не знаю что на *ей* —

И бледно-палевая роза
Дрожала на груди твоей.

Дрожала, понимаете, на недышащей груди! А — безумно люблю: и толпу детей, и его подозрительные отрады, и бледно-палевую розу, и могилу.

Но это еще не все, Марина. Это еще — как-то — сносно, потому что, все-таки — грустно. А есть совсем глупости, которые *я безумно* люблю. Вы *это* знаете?

Роди́лась,
Крестилась,
Женилась,
Благословилась.

Роди́ла,
Крестила,
Женила,
Благословила —
Умерла.

Вот и вся — женская жизнь!
А это вы знаете?

Перо мое писало
Не знаю для кого . . .

Я: — А сердце подсказало:
Для друга моего.

Сонечка:

— Дарю тебе собачку,
Прошу ее любить,
Она тебя научит
Как друга полюбить.

Любить — полюбить — разве это стихи, Марина? Так и я могу. А я и перо вижу — непременно гусиное, все изгрызанное, а собачка, Марина, с вьющимися ушами, серебряно-шоколадная, с вот-вот заплачущими глазами: у меня самой бывают такие глаза.

Теперь, Марина, на прощание, мои самые любимые. Я — серьезно говорю. (С вызовом:) Лю-би-ме-е ва-ших.

Крутится, вертится шар голубой,
Шар голубо-ой, побудь ты со мной!
Крутится, вертится, хочет упасть,
Ка-ва-лер ба-рыш-ню хочет украсть!

Нет, Марина! не могу! я это вам — спою!

(Вскакивает, заносит голову и поет то же самое. Потом подойдя и становясь надо мной:)

— Теперь скажите, Марина, вы это — понимаете? Меня, такую, можете любить? Потому что это мои самые любимые стихи. Потому что это (закрытые глаза) просто — блаженство. (Речитативом, как спящая:) — Шар — в синеве — крутится, воздушный шар Монгольфьер, в сетке из синего шелку, а сам — голубой, и небо — голубое, и тот на него смотрит и безумно боится, чтобы он не улетел совсем! А шар от взгляда начинает еще больше вертеться и вот-вот упадет, и все монгольфьеры погибнут! И в это время, пользуясь тем, что тот занят шаром . . .

Ка-ва-лер ба-рыш-ню хочет украсть!
Что к этому прибавить?
— А вот еще это, Сонечка:

Тихо дрогнула портьера.
Принимала комната шаги
Голубого кавалера
И слуги...

Всё тут вам, кроме барышни — и шара. Но шар, Сонечка, — *земной,* а от барышни он — идет. Она уже позади, кончилась. Он ее *уже* украл и потом увидел, что — незачем было.

Сонечка, ревниво: — Почему?

Я: — А потому, что это был — поэт, которому не нужно было украсть, чтобы иметь. Не нужно было — иметь.

— А если бы это я была — он бы тоже ушел?

— Нет, Сонечка.

— О, Марина! Как я люблю боль! Даже — простую головную! Потому что зубной я не знаю, у меня никогда не болели зубы, и я иногда плакать готова, что у меня никогда не болели зубы, говорят такая чу-удная боль: ну-удная!

— Сонечка, вы просто с ума сошли! Тьфу, тьфу не сглазить, чертовка! Вы Malibran знаете?

— Нет.

— Певица.

— Она умерла?

— Около ста лет назад и молодая. Ну, вот, Мюссе написал ей стихи — Stances à la Malibran — слушайте:

(И меняя на Сонечку некоторые слова:)

...Ne savais tu donc pas, comédienne imprudente,
Que ces cris insensés qui sortaient de ton coeur
De ta joue amaigrie augmentaient la chaleur?
Ne savais-tu donc pas que sur ta tempe ardente
Ta main de jour en jour se posait plus brûlante,
Et que c'est tenter Dieu que d'aimer la douleur!

... Странные есть совпадения. Нынешним летом 1937 г., на океане, в полный разгар Сонечкиного писания, я взяла в местной лавке „Souvenirs", одновременно в библиотеке, годовой том журнала „Lectures" — 1867 г. — и первое, что я увидела: Ernest Legouvé — Soixante ans de souvenirs — La Malibran (о которой я до этого ничего не знала, кроме стихов Мюссе).

„Quoi qu'elle fût l'image même de la vie et que l'enchantement pût passer pour un des traits dominants de son caractère, l'idée de la mort lui était toujours présente. Elle disait toujours qu'elle mourrait jeune. Parfois comme si elle eût senti tout à coup je ne sais quel souffle glacé, comme si l'ombre de l'autre monde se fût projetée dans son âme, elle tombait dans d'affreux accès de mélancolie et son coeur se noyait dans un déluge de larmes. J'ai là sous les yeux ces mots écrits de sa main: — Venez me voir tout de suite! J'étouffe de sanglots! Toutes les idées funèbres sont à mon chevet et la mort à leur tête ..."

— Чтó это, как не живая Сонечкина «записочка»?

Встречи были — каждый вечер, без уговора. Приходили они врозь и в разное время, из разных театров, из разных жизней. И всегда Сонечка хотела — еще остаться, последняя остаться, но так как это было бы — не идти домой с Володей, я всякий раз на совместном уходе — настаивала. — Идите, Сонечка, а то я потом неизбежно пойду вас провожать, и у вас пропаду, и Аля будет голодная — и т. д. Идите, моя радость, ведь день — скоро пройдет!

Мне хорошо и сохранно было их отпускать — в рассвет.

Иногда я их, в этот рассвет, до угла Борисоглебского и Поварской, провожала.

— Aimez-vous bien, vous qui m'avez aimée tous deux, et dites-vous parfois mon nom dans un baiser ...

— Марина! А оказывается Володя — влюблен! Когда увидели, что я — в него — потому что я все время о нем говорю: чтобы произносить его имя — мне сразу рассказали, что он на днях в кафе «Электрик» целый вечер не сводил глаз с танцовщицы, которая танцевала на столе — и даже не допил своего стакана.

Я, когда узнала, сразу ему сказала: — Как вам не стыдно, Володя, ходить к Марине и заглядываться на танцовщицу! Да у Марины из каждого рукава ее бумазейного платья — по сотне гурий и пэри! Вы просто — дурак! И сразу ему сказала, что вам непременно скажу — и он очень испугался, Марина, весь потемнел и стал такой злой, такой злой! И знаете, что он мне сказал? «Я всегда думал, что вы *такая* только с М. И., что это *она* — в вас. А теперь я это — знаю». И пошел. Теперь посмотрите, какой он к вам придет — поджатый!

Пришел не поджатый, а озабоченный, и сразу:

— М. И., вы должны правильно понять меня с этим рассказом Софьи Евгеньевны, как до сих пор меня правильно во всем понимали.

— Володя! Разве я вам объясняла З-ского? Есть такая сказка — норвежская, кажется, — «Что старик делает — все хорошо». А старик непрерывно делает глупости: променивает слиток золота на лошадь, лошадь на козу, и так далее, и, в конце концов, кошку на катушку, а катушку на иголку, а иголку теряет у самого дома, когда перелезает через плетень — потому что не догадался пойти в калитку. Так будем друг для друга тем стариком, то есть: лишь бы *ему* — хорошо! и лишь бы *цел* вернулся! — тем более, что я сама способна три минуты глядеть на танцовщицу — только бы она не говорила.

Володя! А как бы противно было, если бы сказку пустить — наоборот, то есть — иголку на катушку, катушку на овцу и, наконец, лошадь на золото? Ох, паршивый бы старик!

— Поганый бы старик, М. И.! Такими «стариками» сейчас вся Москва полна. От них-то я и . . . .

. . . Нет, М. И., я на нее не «заглядывался». Я на нее — задумался. Вот, мир рухнул, от старого не осталось ничего, а это — вечно: стол — и на нем танцующая пустота, танцую-

щая — вопреки всему, пустота — вопреки всему: всему — *уроку*.

Говорят, — таких любят...

Я, если когда-нибудь женюсь, — то только на сестре милосердия. Чтобы в детях моих текла — *человеческая* кровь.

— Марина, если бы вы знали, как Володя целует, — так крепко! так крепко! (с лукавой усмешкой) — точно я стена! У меня сегодня весь день лицо горит.

К радости своей скажу, что у него никогда не было попытки объяснить мне свои отношения с Сонечкой. Он знал, что я знаю, что это — последний ему данный шаг *ко мне*, что это — сближение, а не разлука, что, ее целуя, он и меня целует, что он нас всех — себя, ее, меня — нас всех втроем и всю весну 19-го года — целует — в ее лице — на ее личике — целует.

Всякая попытка *словами* — была бы унижение и конец.

А — Сонечка? Она лепетала и щебетала, склоняя, спрягая, складывая, множа и сея Володю вдоль и поперек всей своей речи, она просто ему — радовалась, невинно — как в первый день земли.

Сидели — так: слева Володя, справа я, посредине — Сонечка, мы оба — с Сонечкой посредине, мы взрослые — с ребенком посредине, мы, любящие — с любовью посредине. Обнявшись, конечно: мы — руки друг другу через плечи, она в нас, в нашем далеком объятии, розня нас и сближая, дав каждому по одной руке и каждому по всей себе, всей любви. Своим маленьким телом уничтожая всю ту бывшую нашу с Володей разлучную версту.

Сонечка в нас сидела, как в кресле — с живой спинкой, в *плетеном* кресле из наших сплетенных рук. Сонечка в нас лежала, как в колыбели, как Моисей в плетеной корзине на во́дах Нила.

А граммофон, из темного угла вытягивая к нам свое вишневое деревянное певчее горло, пел и играл нам — все, что умел, все, что «умели» — мы: нашу молодость, нашу любовь, нашу тоску, нашу разлуку.

И когда я, потом, перед отъездом из России, продала его татарину, я часть своей души продала — и всю свою молодость.

. . . Блаженная весна, которой нет на свете . . .

Так и сказались, на нас троих, стихи Павлика, когда-то — уже вечность назад! — услышанные мною в темном вагоне — от уже давно убитого и зарытого:

Блаженная весна — которой нет на свете!
Которую несут — Моцарт или Россети . . .
Игрушка — болтовня — цветок — анахронизм, —
Бесцельная весна — чье имя — Романтизм.

Сколько это длилось, эти наши бессонные совместные ночи? По чувству — вечность, но по тому же чувству: одну единую бесконечную быстротечную ночь, и странно: не черную, не лунную — хотя наверное было черно, или наверное была луна — и не синюю от фонаря, который *не* горел, потому что с весной погасло все электричество, а какую-то серебряную, рассеянную, сновиденную, рассветную, всю сплошь — рассветную, с нашими мерцающими во мгле лицами, а может быть она в памяти осталась такой — по слову Сонечки:

— Марина! Я поняла, да ведь это — Белые Ночи! Потому что я сейчас тоже люблю — двоих. Но почему же мне так хорошо? А вам, Марина?

— Потому что не двоих, а — обоих, Сонечка! И я тоже — обоих. И мне тоже «так хорошо». А вам, Володя?

— Мне (с глубоким вздохом) *хорошо,* Марина Ивановна!

— Сонечка, почему вы никогда не носите бус?

— Потому что у меня их нет, Марина.

— А я думала — не любите . . .

— О, Марина! Я бы душу отдала за ожерелье —коралловое.

— А сказку про коралловое ожерелье — хотите? Ну, слушайте. Ее звали Ундина, а его Гульдбрандт, и он был рыцарь, и его загнал поток к ним в хижину, где она жила со стариком и старухой. А поток был ее дядя — дядя Струй, который нарочно разлился так широко, чтобы рыцаря загнать в хижину, а хижину сделать островом, с которого ему не выбраться. И тот же поток загнал к ним старого патера, и он их обвенчал, и она получила живую душу. И сразу переменилась: из бездушной, то есть счастливой, сделалась несчастной, то есть любящей — и я убеждена, что он тут же стал меньше любить ее, хотя в сказке этого не сказано. И потом он увез ее в свой замок — и стал любить ее все меньше и меньше — и влюбился в дочь герцога — Бертольду. И вот они все втроем поехали в Вену, водою, Дунаем, и Бертольда с лодки играла в воде своим жемчужным ожерельем — вдруг из воды рука и с дьявольским хохотом — цап ожерелье! И вся вода вокруг покрылась харями, и лодка чуть не перевернулась. Тогда Рыцарь страшно рассердился, и Ундина зажала ему рукой рот, умоляя его не бранить ее на воде, потому что на воде сильна ее родня. И Рыцарь утихомирился, а Ундина наклонилась к воде и что-то льстиво и долго ей говорила — и вдруг вынула — вот это вот!

— О, Марина! Что это?

— Кораллы, Сонечка, Ундинино ожерелье.

Эти кораллы мне накануне принес в подарок мой брат Андрей.

— Марина! Смотри, что я тебе принес!

Из его руки на стол и через край его — двойной водо-

пад огромных, темно-вишнево-винных, полированных как детские губы, продолговатых — боченочком — каменных виноградин.

— В одном доме продавали, я и взял для тебя, — хотя ты и блондинка, но все равно носи, таких вторых не достанешь.

— Но что это за камень?

— Кораллы.

— Да разве такие — бывают?

Оказалось — бывают. Но одно тоже оказалось сразу: *такое* моим не бывает. Целый вечер я их держала в руках, взвешивала, перебирая, перетирая, водя ими вдоль щеки и вдоль них — губами, — губами пересчитывала, перечитывала как четки, — целый вечер я с ними прощалась, зная, что если есть под луною рожденный владелец этой роскоши, то этот владелец —

— О, Марина! Эти — кораллы? Такие громадные? Такие темные? Это — ваши?

— Нет.

— Какая жалость. Чьи же?

— Ваши, Сонечка. — Вам.

И... не переспросив, так и не сомкнув полураскрытых изумлением губ — в слово, окаменев, все на свете — даже меня! — забыв, обеими руками, сосредоточенно, истово, сразу — надевает.

Так Козетта некогда взяла у Жана Вальжана куклу: немота от полноты.

— О, Марина! Да ведь они мне — до колен!

— Погодите, состаритесь — до земли будут!

— Я лучше *не* состарюсь, Марина, потому что разве старухе можно носить — такое?

Марина! Я никогда не понимала слово счастие. Тонким пером круг — во весь небосвод, и внутри — ничего. Теперь я сама — счастие. Я плюс кораллы — знак равенства — счастие. И — решена задача.

Сжав их в горсть — точно их сожмешь в такой горсти, вмещающей ровно четыре бусины, залитая и заваленная ими, безумие их: пьет? ест? — целует.

И, словом странным именно в такую минуту:
— Марина! Я ведь знаю, что я — в последний раз живу.

Что кораллы были для Сонечки — Сонечка была для меня.

— А что же с тем ожерельем — Ундиниым?
— Она его подала Бертольде — взамен *того* ожерелья, а Рыцарь вырвал его у Бертольды и бросил в воду и проклял Ундину и всю ее родню... и Ундина уже не смогла оставаться в лодке... Нет, слишком грустный конец, Сонечка, плакать будете... Но знайте, что это ожерелье — то самое, дунайское, из Дуная взятое и в Дунай вернувшееся, ожерелье переборотой ревности и посмертной верности, Сонечка... мужской благодарности...

С этих кораллов началось прощание. Эти кораллы уже сами были — прощание. Не дарите любимым слишком прекрасного, потому что рука подавшая и рука принявшая неминуемо расстанутся, как уже расстались — в самом жесте и дара и принятия, жесте разъединяющем, а не сводящем: рук пустых — одних и полных других — рук. Неминуемо расстанутся, и в щель образуемую самым жестом дара и взятия взойдет все пространство.

Из руки в руку — разлуку передаете, льете такими кораллами!

Ведь мы такие «кораллы» дарим — вместо себя, от невозможности подарить — себя, в возмещение за себя, которых мы этими кораллами у другого — отбираем. В таком подарке есть предательство, и недаром вещие сердцем их — боятся: — «Что ты у меня возьмешь — что мне такое даришь?» Такие кораллы — откуп: так умирающему при-

носят ананас, чтобы не идти с ним в черную яму. Так каторжанину приносят розы, чтобы не идти с ним в Сибирь.

— Марина! Я еду со Студией.

— Да? На сколько дней? Куда-нибудь играть?

— Далёко, Марина, на все лето.

«Все лето» когда любишь — вся жизнь.

Оттого, что такие подарки всегда дарились на прощание: в отъезд, на свадьбу, на день рождения (то есть на то же прощание: с данным годом любимого, с данным годом любви) — они, нагруженные им, стали собой разлуку — вызывать: из сопровождения его постепенно стали его символом, потом сигналом, а потом и вызовом его к жизни: им самим.

Может быть — не подари я Сонечке кораллов . . .

Пятнадцать лет спустя, идя в Париже по Rue du Bac, где-то в угловой, нишей, витрине антиквара — я их увидела. Это был удар прямо в сердце: ибо из них, с бархатного нагрудника, на котором они были расположены — внезапный стебелек шеи и маленькое темно-розовое темноглазое лицо, с губами — в цвет: темно-вишнево-винными, с теми же полосами света, что на камнях.

Это было — секундное видение. Гляжу — опять темно-зеленый бархат нагрудника с подвешенным ярлыком: цифрой в четыре знака.

Вслед за кораллами потекли платья, фаевое и атласное.

Было так. Мы шли темным коридором к выходу, и вдруг меня осенило:

— Сонечка, стойте, не двигайтесь!

Ныряю себе под ноги в черноту огромного гардероба и сразу попадаю в семьдесят лет — и семь лет назад, не в семьдесят семь, а в семьдесят — и семь, в семьдесят — и в семь. Нащупываю — сновиденно-непогрешимым знанием — нечто давно и заведомо от тяжести свалившееся, оплывшее,

осевшее, разлегшееся, разлившееся — целую оловянную лужу шелка, и заливаюсь ею до плеч.

— Сонечка! Держите!

— Ой, что это, Марина?

— Стойте, стойте!

И новый нырок на черное дно, и опять рука в луже, но уже не оловянной, а ртутной — с водой убегающей, играющей из под рук, несобираемой в горсть, разбегающейся, разлетающейся из-под гребущих пальцев, ибо если первое — от тяжести — осело, второе — от легкости — слетело: с вешалки — как с ветки.

И за первым, осевшим, коричневым, фаевым — прабабушки графини Ледоховской — прабабушкой графиней Ледоховской — несшитым, ее дочерью — моей бабушкой — Марией Лукиничной Бернацкой — несшитым, ее дочерью — моей матерью — Марией Александровной Мейн — несшитым, сшитым правнучкой — первой Мариной в нашем польском роду — мною, моим, семь лет назад, девичеством, но по *крою* — прабабушки: лиф как мыс, а юбка как море—

— А теперь, Сонечка, держитесь!

И на уже погнувшейся, подавшейся под тяжестью четырех женских поколений Сонечке — поверх коричневого — синее: синее с алым, лазурное и безумное, турецкое, купецкое, аленько-цветочкинское, само — цветок.

— Марина! — Сонечка, пошатнувшись, а главное ничего не видя и не понимая, ни синевы второго, ни конского каштана первого, ибо гардероб — грот, а коридор — гроб... (О, темные места всех моих домов — бывших, сущих, будущих... О, темные дома!.. Не от вас ли мои стихотворные темнóты?» — Ich glaube an Nächte!)

Проталкиваю перед собой, как статую бы на роликах, остолбенелую, совсем исчезнувшую под платьями Сонечку полной тьмой коридора в полутьму столовой: освещавший ее «верхний свет» уже два года как не чищен и перешел в *тот* свет — из столовой, очередным коридором — черным ущельем сундуков и черным морем рояля — в Алину детскую — свет! — наконец-то!

Ставлю ее, шатающуюся и одуренную темными местами, как гроб молчащую — перед огромным подпотолочным зеркалом:

— Мерьте!

Жмурится, как спросонья, быстро-быстро мерцает черными ресницами, неизвестно — рассмеется или заплачет...

— Это — платья. Мерьте, Сонечка!

И вот — секундное видение — белизны и бедности: белого выреза и бедных кружев: оборка юбки, вставка рубашки — секундное полное исчезновение под огромным колоколом юбки — и — в зеленоватой воде рассветного зеркала: в двойной зелени рассвета и зеркала — другое видение: девушки, прабабушки сто лет назад.

Стоит, сосредоточенно застегивает на все подробности его двенадцати пуговок обтяжной лиф, расправляет, оправляет мельчайшие сборки пояса, провожает их рукой до огромных волн подола...

Ловлю в ее глазах — счастье, счастья — нет, есть страшный, детский смертный серьез — девушки перед зеркалом. Взгляд — глубочайшей пытливости, проверки всех данных (и не́данных!), взгляд Колумба, Архимеда, Нансена. Взгляд длящийся — час?

И, наконец: — Чу-десно, Марина! Только длинно́ немножко.

(Длинно́ — очень, тех злосчастных «битюгов» — и носов не видать!)

Стоит, уже счастливая, горячо-пылающая, кланяется себе в зеркале, себе — в зеркало, и, отойдя на три шага, чуть приподняв бока стоящей от тяжести робы — глубокий девический прабабушкин реверанс.

— Да ведь это платье — бал, Марина! Я — уже плыву! Я и не двигаюсь, а оно *уже* плывет! Оно — вальс танцует, Марина! Нет — менуэт! И вы мне его дадите надеть?

— А как вы думаете?

— Дадите, дадите! И я в нем буду стоять за спинкой моего стула — какие мы с тем стулом были бедные, Марина! — но и оно не богатое, оно только — благородное, это то, в котором Настенька ходила на «Севильского цирюльника»! еще ее бабушки! (нужно будет вставить!) На сегодня дадите, Марина? Потому что мне нужно будет еще успеть подшить подол.

— На сегодня — и на завтра — и насовсем.

— Что-о? Это — мне? Но ведь это же рай, Марина, это

просто во сне снится — такие вещи. Вы не поверите, Марина, но это мое первое шелковое платье: раньше была молода, потом папочка умер, потом — революция... Блузки были, а платья — никогда. (Пауза) Марина! Когда я умру, вы в этом меня поло́жите. Потому что это было — первое такое счастие... Я всегда думала, что люблю белое, но теперь вижу, что это была бездарность. И бедность. Потому что другого не было. Это же — мне в цвет, мне в *масть*, как вы говорите. Точно меня бросили в котел, всю: с глазами, с волосами, со щеками, и я вскипела, и получилось — это. А как вы думаете, Марина, если бы я, например, в провинции этим летом вышла замуж — я знаю, что я *не* выйду, но если — можно мне было бы венчаться — в синем? Потому что — мне рассказывали — теперь даже в солдатском венчаются — невесты, то есть. Будто бы одна даже венчалась в галифе. То есть — хотела венчаться, но батюшка отказался, тогда она отказалась — от церковного брака.

Решено, Марина! Венчаюсь — в синем, а в гробу лежу — в шоколадном!

После платьев настал — желтый сундук.

Узнав, что она едет, я с нею уже почти не расставалась — брала с утра к ней Алю и присутствовала при всей ее остающейся жизни. (И откуда-то из слуховых глубин слово: règne. Канада, где по сей день вместо *vie* говорят règne, о самой бедной невидной человеческой жизни, о жизни дровосека и плотогона — règne.. Mon règne. Ton règne. Так, на французском канадском эта Сонечкина остающаяся жизнь, в порядке всех остальных, была бы règne, la fin de son règne. И меня бы не обвиняли — в гиперболе:

Великий народ, *так* называющий — жизнь.)

— Ну, Марина, нынче я укладываюсь!

Сижу на подоконнике. Зеленое кресло — пустое: Сонечка раскладывается и укладывается, переносит, с места на место, как кошка котят, какие-то тряпочки, бумажечки, коробочки... Открывает желтый сундук. Подхожу и я — наконец посмотреть приданое.

Желтый сундук — пуст: на дне желтого сундука только новые ослепительно-рыжие детские башмаки.

— Сонечка? Где же приданое?

Она, держа в каждой руке по огромному башмаку, еще огромнейшему — от руки:

— Вот! Сама купила — у нас в Студии продавались по случаю, еще чьей-то сестры или брата. Я и купила, убедив себя, что это очень практично, потому что такие толстые... Но нет, Марина, не могу: слишком жёсткие, и опять с мордами, с наглыми мордами, новыми мордами, сияющими мордами! И на всю жизнь! До гробовой доски! Теперь я их продаю.

Через несколько дней: — Ну, как, Сонечка, продала ботинки?

— Нет, Марина, мне сказали, что очень просто: прийти и стать — и сразу с руками оторвут. Рвать-то рвали, и очень даже с руками, но, Марина, это такая мука: такие глупые шутки, и такие наглые бабы, и мрачные мужики, и сразу начинают ругать, что подметки картонные, или что не кожа, а какое-то там их «сырье»... Я заплакала — и ушла — и никогда больше не буду продавать на Смоленском.

А еще день спустя, на тот же мой вопрос: — О, Марина! Как я счастлива! Я только что их подарила. Хозяйской девчонке — вот радость была! Ей двенадцать лет и ей как раз. Я думала Алечке — но Алечке еще целых шесть лет ждать — таких морд, от которых она еще будет плакать! А хозяйская Манька — счастлива, потому что у нее и ноги такие — мордами.

В один из ее предотъездных дней я застала у нее громадного молодого солдата, деликатно присевшего с краю пикейного одеяла, разложив по защитным коленям огромные руки: раки.

— А это, Марина, мой ученик — Сеня. Я его учу читать.

— И хорошо идет?

— Отлично, он страшно понятливый, — да, Сеня?

— Как сказать, Софья Евгеньевна...

— Уже по складам, или пока только буквы?

— Сеня! (Сонечка, заливаясь) Марина Ивановна — потому что эту гражданку зовут Марина Ивановна, она знаменитая писательница — Марина Цветаева. Сеня, запомните, пожалуйста! — Марина Ивановна думала, что я вас *читать* учу, азбуке! Я его читке, учу, выразительному чтению... А мы с ним давно-о грамотные, правда, Сеня?

— Второй год, Софья Евгеньевна.

Никогда не забуду тот взгляд глубочайшего обожания, которым солдат отметил это «мы с ним»...

— «Товарищ, товарищ»... А вот меня на улице никто не зовет товарищ, и почти никогда — гражданка, всегда — гражданочка — и сразу всякое такое в рифму. Гражданочка-смугляночка (хотя я вовсе не смуглая, это меня только румянец темнит) — или там: миляночка, а один даже целый стих сочинил:

Гражданочка, гражданочка,
Присядь ко мне на лавочку,
Поешь со мной бараночку!

— а я ему: — «А где бараночка? Обещал — так давай!» — «А я это только так, гражданочка, для складу, и никакой, к сожалению, бараночки у меня нету, потому что Колчак-сволочь оголодил, а ежели бы время другое — не только бараночку, а целое стадо бы баранов вам пригнал — для ради ваших прекрасных глазок. Потому что, глазки, у вас, гражданочка...» И всё эти глаза, эти глаза. Разве они уж правда — такие особенные? И почему я только солдатам нравлюсь, и еще старикам, и никогда, никогда — интеллигентам?

Я много раз давала ее протяжное: — Марина... (О, Мари-ина... Ах, Мари-ина!) Но было у нее другое Марина, от-

рывистое, каким-то вздрагиванием верхней губы, и неизбежно предшествующее чему-нибудь смешному: — «М'р'н'а (вроде французского Marne) — а вы заметили, как он, когда вы сказали . . .» Мое имя бывшее уже дрожанием смеха, уже входившее в смех, так сказать открывающее руладу, с буквами — пузырящимися под губой.

Моим именем она пела, жаловалась, каялась, томилась, им же — смеялась.

Накануне отъезда она принесла Але свой подарок: «Детство и отрочество» в красном переплете, свое, детское с синими глазами Сережи Ивина и разбитой коленкой его, и целой страницей ласкательных имен.

— О, Марина! Как я хотела подарить вам мою «Неточку Незванову», но у меня ее украли: взяли и не вернули. Марина! Если когда-нибудь увидите — купите себе ее от меня на память, в ней все мое к вам, потому что это повесть о нас с вами, и повесть тоже неокончена — как наша . . .

Потом был последний вечер, последний граммофон, последнее втроем, последний уход — в последний рассвет.

Пустынная площадь — перед каким вокзалом? Мнится мне — перед Богом-забытым, не знаю — Брянским? наверное — деревянным. Мужики, мешки. Бабы, мешки. Солдаты, мешки. А все же — пусто. Отвесное солнце, лазурь — синée того платья.

Стоим — Сонечка, тот солдат, я.

— А это, Марина, моя ученица!

На нас — заглатывая ногами по дюжине булыжников зараз — женский колосс, девический колосс, с русой косой в

кулак, в синей юбке до колен, от которых до земли еще добрых полсажени, со щеками красного лаку, такого красного и такого лаку, что Сонечкины кажутся бледными.

И Сонечка, в ответ на мой изумленный взгляд:

— Да, и нам всего шестнадцать лет. И мы первый год как из деревни. На сцену хотим. Вот какие у нас на Руси бывают чудеса!

И, приподнявшись на цыпочки, с любовью поглаживает.

Ученица, вопреки всякому правдоподобию еще покраснев, могучим басом:

— Софья Евгеньевна, я вам продовольствия принесла на дорогу. (Вынимая могучий мешок.) Цельный месяц — сыты будете.

Перрон. Сонечка уже внутри. Плачет — из вагона прямо на перрон.

— Марина! Марина! Марина! Марина!

Я, уж не зная чем утешить: — Сонечка! Река будет! Орехи будут!

— Да что́ вы меня, Марина, за бездушную белку принимаете? (Плача.) — Без вас, Марина, мне и орех не в орех!

... Алечку — поцелуйте!

... Мой граммофон — поцелуйте!

... Володечку — поцелуйте!

Бесценная моя Марина!

Все же не могла — и плакала, идя по такой светлой Поварской в сегодняшнее утро, — будет, будет, и увижу вас не раз и буду плакать не раз, — но *так* — никогда, никогда —

Бесконечно благодарю вас за каждую минуту, что я была с вами, и жалею за те, что отдавала другим — серьёзно, очень прошу прощения за то, что я раз сказала Володе — что он самый дорогой.

— Самая дорогая — вы, моя Марина.

Если я не умру и захочу снова — осени, сезона, театра, — это только вашей любовью, и без нее умру — вернее без вас. Потому что знать, что вы — есть, знать, что Смерти —

нет. А Володя своими сильными руками сможет вырвать меня у Смерти?

Целую тысячу раз ваши руки, которые должны быть только целуемы — а они двигают шкафы и подымают тяжести — как безмерно люблю их за это.

Я не знаю, что сказать еще — у меня тысяча слов — надо уходить. Прощайте, Марина. — помните меня — я знаю, что мне придется все лето терзать себя воспоминаниями о вас, — Марина, Марина, дорогое имя, — кому его скажу?

Ваша в вечном и бесконечном Пути — ваша Соня Голлидэй (люблю свою фамилию — из-за Ирины, девочки моей.)

2.

Вещи уложены. — Жизнь моя, прощайте! — Сколько утр встречала я на зеленом кресле — одна с мыслями о вас. Люблю все здесь — потому что вы здесь были.

Ухожу с болью — потому же.

— Марина — моя милая, прекрасная — я писать не умею и я так глупо плачу.

Сердце мое — прощайте.

Ваша Соня.

3.

(Але)

Целую тебя, маленькие тоненькие ручки, которые обнимали меня — целую, — до свидания, моя Аля — ведь увидимся?

Наколдуй счастие и Большую Любовь — мне, маленькой и не очень счастливой.

Твоя Соня.

4

20 июня (7-го старого стиля) 1919 г.

Моя дорогая Марина — сердце мое — я живу в безмерной суматохе — все свистят, поют, визжат, хихикают — я не могу собраться с мыслями — но сердцем знаю о своей любви к вам, с которой я хожу мои дни и ночи.

Мне худо сейчас, Марина, я не радуюсь чудесному воздуху, лесу и жаворонкам, — Марина, я тогда все это знаю, чувствую, понимаю, когда со мной — вы, Володя, мой Юрочка — даже граммофон — я не говорю о Шопене и «Двенадцатой рапсодии», — когда со мной Тот, которого я не знаю еще — и которого никогда не встречу.

Я могу жить с биением пульса 150 даже после мимолетной встречи глазами (им нельзя запретить улыбнуться!) — а тут я одна — меня обожают деревенские девчонки — но я же одинока, как телеграфные столбы на линии железной дороги. Я вчера долго шла одна по направлению к Москве и думала: как они тоскуют, одинокие, — ведь даже телеграммы не ходят! — Марина, напишу вам пустой случай, но вы посмеетесь и поймете — почему я сегодня в тоске.

Вчера сижу у Евгения Багратионовича и веду шутя следующий диалог с бабой:

Баба: — Красавица, кому папиросы набиваешь? Муженьку?

Соня: — Да.

Баба: — Тот, что в белых брюках?

Соня: — Да.

Баба: — А что же ты с ним не в одной избе живешь?

Соня: — Да он меня прогнал. Говорит, больно подурнела, — а вот папиросы набивать велит — за тем и хожу только, а он другую взял.

Вечер того же дня.

Баба ловит Вахтангова и говорит:

— Что ж ты жену бросил, на кого променял? Ведь жена-

то красавица, — а кого взял? — Не совестно? — Живи с женой!

Ночь того же дня.

Я мою лицо в сенях. Входит Вахтангов:

— Софья Евгеньевна, что́ вы — ребенок или авантюристка — и рассказ бабы.

Убегаю от Вахтангова и безумно жалею, что не с ним.

Это пустое все. — Марина, пишите, радость моя — пишите. С завтрашнего дня я въезжаю в отдельную комнату и буду писать дневник для вас, моя дорогая. — Пишите, умоляю, я не понимаю, как живу без вас. — Письма к Г-ру — и пусть Володя тоже. — Что он?

— Марина, увозят вещи — надо отнести письмо — не забывайте меня. Прошу, умоляю — пишите.

О, как я плакала читая ваше последнее письмо, как я люблю вас. — Целую ваши бесценные руки, ваши длинные строгие глаза и — если б можно было поцеловать — ваш обворожительно-легкий голос.

Я живу ожиданием ваших писем. Алечку и Ирину целую. — Мой граммофон, — где все это?

Ваша С.

5.

(Последнее)

1 июля (20-го июня старого стиля) 1919 г.
Заштатный город Шишкеев.

— Марина, — вы чувствуете по названию — где я?! — Заштатный город Шишкеев — убогие дома, избы, бедно и грязно, а лес где-то так безнадежно-далёко, что я за две недели ни разу не дошла до него. — Грустно, а по вечерам душа разрывается от тоски, и мне всегда кажется, что до утра я не доживу.

По ночам я писала дневник, но теперь у меня кончилась свеча, и я подолгу сижу в темноте и думаю о вас, моя доро-

гая Марина. — Такая нежданная радость — ваше письмо. — Боже мой, я плакала и целовала его и целую ваши дорогие руки, написавшие его.

— Марина, когда я умру, на моем кресте напишите эти ваши стихи:

...И кончалось все припевом:
Моя маленькая!

— Такое изумительное стихотворение. —

— Марина, сердце мое, я так несвязно пишу. Сейчас день самый синий и жаркий, — так все шумит, что я не могу думать. — Я пишу, безумно торопясь, так как Вахтанг Леванович едет в Москву — и мне сроку полчаса. — Марина, умоляю вас, мое сердце, моя Жизнь — Марина! — не уезжайте в Крым пока, до 1-го августа. Я к 1-му приеду, я умру, если не увижу вас, — мне будет нечем жить, если я еще не увижу вас.

— Марина, моя любимая, моя золотая, не уезжайте — я не знаю, что еще сказать.

Люблю вас больше всех и всего и — что бы я ни говорила — через все это.

— Марина, милая, нежная, дорогая, целую вас, ваши глаза, руки, целую Алечку и ее ручки за письмо, — презираю отца, сына и его бездарную любовь к «некой замужней княгине», — огорчена, что Володя не пишет, по-настоящему огорчена. —

Сердце мое, Марина, не забывайте меня.

Ваша Соня.

Дневник пишу для вас.

По дороге в Рузаевку я дала на одной из станций телеграмму Володе:

Целую вас — через сотни
Разъединяющих верст!

Даю телеграфисту, а он не берет срочно подобную телеграмму, — говорит, это не дело. Еле умолила.

Целую.

Молюсь за вас.

P.S. — Против моего дома церковь, я хожу к утрене и плачу.

Соня.

После Сонечкиного отъезда я малодушно пошла собирать ее по следам. Мне вдруг показалось — я вдруг приказала себе поверить, что — ничего особенного, что в ее окружении — все такие.

Но, к своему удивлению, я вскоре обнаружила, что Сонечки все-таки — как будто — нет, совершенно так же, как за неимением папиросы машинально суешь себе в рот — что́ попало длинного: карандаш — или зубную щетку — и некоторое время успокаиваешься, а потом, по прежнему недомоганию, замечаешь, что — не то взял.

Студийцы меня принимали, по следу Сонечкиной любви, отлично, сердечно, одна студийка даже предложила мне, когда Ирина вернется из деревни, взять ее с собой — в какую-то другую деревню... мы несколько раз с ней встретились — но — она была русая и голубоглазая — и вскоре обнаружилось, что Сонечка совсем не при чем. Это была — моя знакомая. Моя чужая новая знакомая.

Как в книге — «продолжение следует», здесь продолжения — не следовало.

Продолжение следовало — с Володей, наше продолжение, продолжение прежних нас, до-Сонечкиных, не разъединенных и не сближенных ею. Казалось бы — естественно: после исчезновения между нами ее крохотного физического присутствия, нам это крохотное физическое отсутствие, чуть подавшись друг другу, восполнить, восполнить — собою, то есть просто сесть рядом, оказаться рядом. Но нет — как по уговору — без уговору — мы с ее исчезновением между нами — отсели, он — в свой далекий угол, я — на свой далекий край, на целую добрую полуторную Сонечкину длину

друг от друга. Исчезнувшая между нами маленькая черная головка наших голов не сблизила. Как если бы то, с Сонечкой, нам только снилось и возможно было только с ней: только во сне.

Но тут должно прозвучать имя: Мартин Иден.

— Это — больше, чем можно сказать: и вещь, и герой, и автор. Больше, чем *мне* можно сказать... Когда-нибудь, когда расстанемся... — Марина Ивановна, прочтите Мартина Идена, и когда дойдете до места, где белокурый всадник на белом коне — вспомните и поймите — меня.

Девятнадцать лет спустя, девятнадцать с половиной лет спустя, в ноябре 1937 г., иду в дождь, в Париже, по незнакомой уличке, с русским спутником Колей — чуть постарше тогдашнего Володи.

— Марина Ивановна! А вот книжки старые — под дождем — может быть хотите посмотреть?

Приоткрываю брезент: на меня глазами глядит Мартин Иден.

Теперь — пояснение. Дико было бы подумать обо мне, живущей только мечтой и памятью, что я то́ Володино завещание — забыла.

Но — так просто войти в лавку и спросить Мартина Идена?

Как Володя когда-то вошел в мою жизнь — сам, как все большое в моей жизни приходило само — или вовсе не приходило, так и Мартин Иден должен был прийти сам.

Так и пришел — ныне, под дождем, по случайному слову спутника.

Так и предстал.

Мне оставалось — только протянуть руку: ему, утопающему под дождем и погибающему от равнодушия прохожих. (Вспомним конец Мартина Идена и самого Джека Лондона!)

В благополучной лавке — нового неразрезанного Марти-Идена, любого Мартина Идена, очередной экземпляр Мартина Идена — было бы предательством самого Володи, тройным предательством: Джека Лондона, Мартина Идена и Володи. Торжеством той la Chose Etablie, биясь об которую они все трое жизнь отдали.

А та́к — под дождем — из-под брезента — в последнюю минуту перед закрытием — из рук равнодушной торговки

— та́к это просто было спасением: Мартина Идена и памяти самого Володи. Здесь Мартин Иден во мне нуждался, здесь я ему протягивала руку помощи, здесь я его действительно, рукой — выручила.

И вот, в конце этой бессмертной книги — о, я того белокурого всадника тоже не искала, и даже не ждала, зная, что предстанет — в свой срок на своей строке! — в конце этого гимна одинокому труду и росту, этого гимна *одиночеству* в уже двенадцатый его час в мире...

— видение белого, но не всадника: гребца, пловца, тихоокеанского белолицого дикаря стойком на щепке, в котором я того белокурого всадника (никогда не бывшего, бывшего только в моей памяти) — узнала.

Девятнадцать лет спустя Мартин Иден мне Володю — подтвердил.

Однажды я читала ему из своей записной книжки — З-ского, Павлика, Сонечку, себя, разговоры в очередях, мысли, прочее — и он, с некоторой шутливой горечью:

— Марина Ивановна, а мне все-таки обидно — почему обо мне ничего нет? о — нас? о — нашем?

...Вы понимаете, я в мире внешнем, в жизни, вас ни к чему не ревную, но в мире мысли и — как бы еще сказать? Я сам никогда ничего не записываю — у меня и почерк детский — я знаю, что все — вечно, во мне — вечно, что все останется и в нужный час — встанет, все, каждое наше с вами слово. У меня даже чувство, что я, записывая, что-то — оскорбил бы, умалил бы... Но вы — другое, вы писательница...

— А вы это когда-нибудь, хоть раз за всю нашу дружбу, заметили, Володя?

Он, усмехнувшись: — Другие — говорили...

— Стойте, Володя! А у меня есть про вас — две строки, конец стихов, никогда не написанных:

Если бы царем вас Бог поставил,
Дали б вам прозвание — Тишайший

Глазами вижу, как спускает стих себе в грудь и *там* его слушает. И, с началом усмешки:

— Марина Ивановна. Это я только с вами — такой — тихий.

Я еще нигде не сказала об его улыбке: редкой, короткой, смущенной, себя — стыдящейся, из-под неизменно опущенных глаз — тех — снисходительных и даже снисходящих, которыми он смотрел, вернее несмотрел на меня, когда я заводила о З-ском. Улыбка с почти насильственным сведением расходящихся губ, приведением их на прежнее место — несмеха. Странно, но верно, и прошу проверить: такая улыбка бывает у двухгодовалых, еще мало говорящих детей, с неизменным отводом, а иногда и зажатием — глаз. Да, у Володи была *детская* улыбка, если отказаться от всех общих мест, которые с детским связаны.

И еще — такая улыбка (скрытого торжества и явного смущения) бывает на лицах очень молодых отцов — над первенцем: непременно — сыном. Если в с трудом сводимых губах было смущение, то в глазах было — превосходство.

Володя, Володя, когда я где-нибудь, на чьем-нибудь лице — двухгодовалого ребенка ли в сквере, сорокалетнего ли английского капитана в фильме — вижу *начало* этой улыбки — ни сквера, ни фильма, ни ребенка, ни капитана — то кончается эта улыбка вашей.

И все — как тогда.

Мы с ним никогда не говорили про Сонечку. Я знала, что он ее по-другому любит, чем я, и она его по-другому, чем меня, что мы с ним на ней не споемся, что для него она — меньше, чем есть, потому что была с ним — меньше, чем есть, потому что всем, что есть — была со мною, а сразу с двумя порознь нельзя быть всем, можно только с двумя

вместе, то есть втроем, как оно в нашем втроем и было, а оно — кончилось.

Я даже не знаю, писал ли он ей.

Наша беседа о ней непременно была бы спором, я чувствовала, что у него к ней — нет ключа, и чтобы все сказать: он для нее был слишком молод, слишком молод для ее ребячества, под которым он в свои двадцать лет не мог прочувствовать всей беды и судьбы. Для него любить было — молиться, как молиться — такому маленькому, которого, и став на колени, неизбежно окажешься — и выше и старше?

Смолк и наш граммофон, оказавшийся только Сонечкиным голосом, тем вторым одновременным голосом, на отсутствие которого у себя в груди она так часто и горячо жаловалась.

Сонечка, с граммофоном, с зеленым креслом, с рыжими непроданными башмаками, с *ее* Юрой, с *ее* Володей, и даже с *ее* мною, со всем своим и всей собой, вся переселялась в мою грудь, и я — с нею в груди — вся переселилась в будущее, в день нашей встречи с ней, в который я твердо верила.

Все эти дни без нее — я точно простояла, точно застясь рукой от солнца, как баба в поле — не идет ли? Или проспала, как девочка, которой обещали новую куклу — и вот она все спит, спит, спит, и встает — спит, и ложится — спит, — лишь бы только время прошло! Или — как арестант, ежедневно зачеркивающий на стене еще одну палочку. Как навстречу идут — так я жила ей навстречу, шла ей навстречу — каждым шагом ноги и каждым мигом дня и помыслом лба — совсем как она, тогда, по шпалам, по направлению к Москве, то есть — ко мне.

О, я совсем по ней не скучала — для этого я слишком ей радовалась!

Вот ее отзвуки — в моей записной книжке тех дней:

«Сейчас передо мной Алины колени и длинные ноги. Она лежит на крыше, спустив ноги на подоконник. — Марина! Вот облако плывет, — может быть это душа вашей матери? — Марина, может быть сейчас к нашему дому подходит Русалочка, — та, которой было триста лет? (И крестится, заслышав с улицы музыку.) — Марина! Марина! Марина! Как дым летит, Боже мой! Ведь этот дым летит всюду, всюду!

Марина, может быть это дым от поезда, в котором едет Сонечка? — Марина, может быть это дым от костра Иоанны? А сколько душ в этой вышине, правда?»

...«О женщинах не скажу, потому что всех вспоминаю с благодарностью, но люблю только Сонечку Голлидэй».

«Когда я думаю о приезде Сонечки Голлидэй, я не верю: такого счастья не бывает.

Думаю о ней — опускаю главное — как о новом кольце, как о розовом платье, — пусть это смешно звучит: с вожделением.

Потому что это не Сонечка приедет — а вся Любовь».

«Мечтаю о Сонечке Голлидэй, как о куске сахара: *верная* — сладость».

(Пусть вся моя повесть — как кусок сахара, мне по крайней мере *сладко* было ее писать!)

— Марина Ивановна! Сегодня наш последний вечер. Я завтра уезжаю на юг.

— Последний... завтра... Но почему же вы, как вы могли мне раньше...

— Марина Ивановна! — голос настолько серьезный, что даже — остерегающий. — Не заставляйте меня говорить того, что не нужно: мне — говорить, вам — слышать. Но будьте уверены, что у меня на то были — серьезные причины.

— Скрыть от меня — конец? Ходить как ни в чем ни бывало, а самому — знать? одному знать?

— Нну, если вы уж решительно хотите . . .

— Ни решительно, ни нерешительно, я просто — ничего не хочу, Бог с вами совсем! Мне просто — все это — приснилось, ну — лишний раз — *все* приснилось!

— Марина Ивановна! Вы все-таки — человек, и я — человек, а человеком быть — это чувствовать боль. Зачем же мне, которому вы дали столько радости, только радость, было причинять вам эту боль — до сроку? Достаточно было — моей.

— Володя, вы твердо решили?

— Уже чемодан уложен.

— Вы один едете?

— Нет, нас несколько. Несколько — студийцев. Потом я от них отделюсь.

— Я вас правильно понимаю?

— Да.

— А — родители?

— Они думают — играть. Все думают — играть. Только — вы. Марина Ивановна, мне здесь больше делать нечего. Здесь — не жизнь. *Мне* здесь — не жизнь. Я не могу играть жизнь, когда другие — живут. Играть, когда другие — умирают. Я не актер.

— Я это — всегда знала.

— А теперь забудем и будем проводить вечер как всегда.

И вечер прошел — как всегда. И *прошел* — как всегда, всякий.

В какую-то его минуту, я — как завеса с глаз!

— А Ангел-то были — вы, Володечка!

— Что? (и, поняв, смущенно) — Ах, вы об этом . . . (И уже — твердо) — Нет, Марина Ивановна, я — не ангел: моя самая большая мечта когда-нибудь стать человеком.

Потом тем самым, не своим: Сонечкиным, сонным, спящим, самому себе, не мне — голосом:

— Я, может быть, был слишком честным . . .

И, еще спустя:

— Карл Великий — а может быть и *не* Карл Великий —

сказал: — «С Богом надо говорить по-латыни, с врагом — по-немецки, с женщиной — по-французски...» (Молчание) — И вот — мне иногда кажется — что я с женщинами говорю по-латыни...

(Если я его тогда не обняла... но он не этого хотел от меня — и не этого от себя со мною...)

Перед самым его уходом, но еще в комнате — уже почти светлой:

— Марина Ивановна, вам всегда нравился мой перстень. Возьмите его! Я с первой минуты хотел вам его подарить, и с тех пор — чуть ли не каждую нашу встречу, но все — чего-то — ждал. Теперь оно настало. Это не подарок, Марина Ивановна, это — дань.

— Володя! Это, кажется, первое кольцо, которое *мне* дарят, всегда — я, и (сняла и держу) если я до сих пор вам не подарила — этого, то только потому, что уже дарила и Ю. З., и Павлику, а ско́льким — до них! Я не хотела, я не могла, чтобы вы этим — как-то — стали в ряд.

— А *как* я им завидовал! Теперь могу сказать. И Павлику, и З-скому — что с *вашей* руки — и такие прочные! Прямо (смеясь) — сгорал от зависти! Нет, Марина Ивановна, вы мне его непременно дадите, и я этим — не стану в ряд, в Студии — стал бы в ряд, но там, куда я еду... А если бы даже — в *том* ряду стоять не обидно.

Любуясь: — И щиток — пустой. Для имени. Я так привык его видеть на вашей руке, что теперь моя собственная мне будет казаться вашей. (Держа на отлете) — А у З-ского — меньше. У З-ского — с китаянки, а у меня — с китайца, с китайского мудреца.

— Самого простого кули, Володечка.

— А если он еще вдобавок и кули... весь социальный вопрос разрешен!

Шутим, шутим, а тоска все растет, растет...

— Володя, знаете для чего существуют поэты? Для того, чтобы не стыдно было говорить — самые большие вещи:

И сохранят всегда мои дороги —
Твою печать.

Стоим под моими тополями, когда-то еле-зелеными, сейчас — серебряными, и до того серебряными, что ни веток ни ствола не видно.

— Нет, нет, Марина Ивановна, вы не думайте, это еще не последний раз, я еще завтра, то есть — уже сегодня, я еще раз сегодня приду — за карточками детей — и совсем проститься.

Когда он «на следующий день» пришел, и я, впервые после той нашей, уже век назад, первой и единственной дневной прогулки, увидела его при свете и даже — на солнце, я просто обмерла:

— Володя! Да что же это такое? Да вы же совсем не черный! Вы же — русый!

— И даже светло-русый, Марина Ивановна.

— Господи, а я-то целые полтора года продружила с черным!

— Вы, может быть, еще скажете, что у меня глаза — черные? — он, с немножким грусти.

— Нет, сине-серые, это я всегда знала, и с серыми — дружила . . . Но эти волосы — сон какой-то!

— Марина Ивановна, боюсь, — в голосе под слоем шутки явная горечь, — что вы и все остальное во мне видели по-своему! Всего меня, а не только (презрительный жест к волосам) — это!

— А *если* — разве плохо видела?

— Нет, Марина Ивановна, хорошо, даже слишком хорошо, потому и боюсь с вами — дневного света. Вот я уже оказался — русым, а завтра бы оказался — скучным. Может быть — хорошо, что я еду?

— Володя! Не выводите меня из себя, из моего последнего с вами терпения, из нашего последнего с вами терпения!

Потому что сами не обрадуетесь — и еще, может быть, не уедете! У меня полон рот, понимаете, полон рот — и я сейчас всем этим — задохнусь!

— *Не* надо, Марина Ивановна.

Сидим теперь в той чердачной комнате, откуда Аля лезла мне навстречу на крышу.

— Алечка! У меня к тебе просьба: почитай мне мамины стихи!

— Сейчас, Володечка!

Прибегает с малиновой книжкой, которая у нее в кухне под подушкой.

Серый ослик твой ступает прямо,
Не страшны ему ни бездна, ни река...
Милая Рождественская Дама,
Увези меня с собою в облака!
Я для ослика достану хлеба...

Голосок журчит...

Марина Ивановна, я вам подарок принес! Мою любимую книгу — про Жанну д'Арк — вы не знаете? Марка Твена — замечательную.

Раскрываю: надпись. Не читая — закрываю.

— Марина Ивановна, я всегда хвастался — что у меня свой оружейный склад — свой музей — и своя библиотека — и никому не показывал, потому что у меня были ровным счетом: гишпанская пиштоль, перстень и две книги: Мартин Иден — и эта. Теперь у вас — весь мой арсенал — весь мой музей — и вся моя библиотека. Я — чист.

— Марина! (Алин голос) А мне можно подарить Володе мой «Волшебный фонарь»? Чтобы он читал в вагоне, если уж очень будут ругаться солдаты. Чтобы он *им* читал, пото-

му что они тогда от удивления усмирятся, а потом заснут. Потому что деревенские, от стихов, всегда засыпают. Я когда Наде читала стихи, она всегда спала.

Володя, целуя ручку и в ней книжку: — Я не с солдатами еду, Алечка, а с сумасшедшими, говорят — тихими, но сейчас тихих нет, сейчас — все буйные.

— Ну, *они* уж от Марининых стихов — не заснут!

— Володя, а мы с Мариной вам письма написали на дорогу, как когда-то писали папе, чтобы читал в вагоне. Это — наши прощальные голоса.

— Когда ваш поезд?

— Скоро. Мне уже идти нужно.

— А проводить? . .

— Нет, Марина Ивановна, я хочу с вами проститься — здесь.

— Теперь посидим перед дорогой.

Садимся в ряд, на узкий диван красного дерева. Аля вслух молится: — Дай, Господи, Володе счастливо доехать и найти на юге то, что ищет. И потом вернуться в Москву — на белом коне. И чтобы мы еще были живы, и чтобы наш дом еще стоял. Аминь.

Крестимся, встаем, сходим по узкой мезонинной лестнице в вечную тьму коридора. На мое извечное движение — идти с ним дальше:

— Не провожайте дальше. Трудно будет идти.

Последняя минута. Скажу или нет? Скажет или —

Просто, как если бы всю жизнь только это и делал, обнимает меня за голову, прижимает к груди, целует в голову, целует в лоб, целует в губы.

Потом трижды крещу, творю над его лбом, плечами, грудью тот основной † крест его лица.

Отступил: уже за порогом. И через порог, уже без руки:

— Прощайте, Марина (и гору глотнув) — Ивановна.

Милый Володя!

Желаю, чтобы в вагоне не было душно, чтобы вас там кормили, хорошо обращались, никто к вам не приставал бы, дали бы вам открытое окно. Хочу, чтобы вся дорога была так хороша и восторженна, как раньше. Вы уезжаете, наш последний настоящий друг.

Володя! Я сейчас подняла голову и была готова заплакать. Я очень грущу. Вы последний по-настоящему любили нас, были так нежны с нами, так хорошо слушали стихи. У вас есть Маринина детская книга. Вы ее будете читать и вспоминать, как читала вам — я. Скоро опять кто-нибудь поедет в Киев и мы опять вам напишем письма.

Володя. Мне кажется неправдой, что скоро вас не будет. О, Господи! Эти вагоны не подожгут, потому что все пассажиры невинные. Постарайтесь быть незаметным и придумайте себе хорошую болезнь. Может случиться ужасно . . .

Эти напутственные Алины ужасы — не уцелели, потому что тут же послышался Володин прощальный стук, и письма ее себе в тетрадку я дописать не успела. Думаю, что следовало описание водворения Володи на киевском вокзале из сумасшедшего вагона — в фургон, как самого опасного из сумасшедших.

На книге о Жанне д'Арк было надписано:

— Мы с вами любим — одно.

Потом было письмо, одно единственное, в несколько строк.

Письмо кончалось: — Твердо надеюсь, что мы с вами еще встретимся. Этой верой буду жить.

Потом началось — молчание.

Стук в дверь. Открываю — Сонечка.

Радость? Нет. Удар — такой силы, что еле устаиваю на ногах.

А в ушах — родной поток: — Марина... и что-то еще, и еще, и еще, и опять: — Мар-рина... и только постепенно встают из потока слова: — только час, только час, только час. — У меня только час... У меня с вами только час. Я только что приехала и сейчас опять уезжаю... У нас с вами только час! Я только для вас приехала. Только час!

На лестнице сталкиваемся с квартирантами, спускающимися.

Сонечка: — Я Софья Евгеньевна Голлидэй, мне вам нужно сказать два слова.

Отец и сын покорно сворачивают обратно вверх. Стоим все на лестничной площадке.

— Гадкие люди! Как вы можете так эксплуатировать женщину, одну, без мужа, с двумя маленькими детьми?!

— Да мы... да мы...

— Вы вламываетесь в кухню, когда она спит, чтобы мыться (фыркая как три кошки)... под струей! Точно вы от этого чище! Вы продаете ее часы и не даете ей денег! Вы в ее комнате, где ее книги и тетради, развешиваете свое поганое грязное белье!

— Но — позвольте... Софья Евгеньевна? — молодой, обидчиво — мы только мокрое чистое развешиваем!

Ну, чистое — все равно поганое. Потому что есть чердаки, с балками, но вам лень туда лезть.

— Но там пол проваливается, балки на голову падают...

— И чудесно, если проваливаются... и чудесно, если падают...

— И, в конце концов, Марина Ивановна нам эту комнату — сдала.

— Но вы ей ни разу не заплатили.

— Это потому, что у нас сейчас нет денег: мы не отказываемся...

— Словом, это — бездарно, все ваше поведение с Мариной, без-дарно. И даже преступно. Вы, когда весь двор был полон солдатами — не разбудили ее среди ночи? Не просунули ей в щель какие-то идиотские мемуары и портреты — и целую мальтийскую шпагу?

— Но Марина Ивановна сама говорила, что если в случае...

— Я знаю, что — сама. А вы — пользуетесь. А если бы ее — расстреляли?

(Отец молчит и тяжело сопит, внутренно со всем согласный.)

— Словом, помните: я сейчас уезжаю. Но я вернусь. И если я узнаю, что вы — вы меня поняли? я наведу на вас беду — болезнь — и тиф, и чесотку, и что угодно — я вас просто *прокляну*.

(Нужно сказать, что после этого поляки присмирели, а впрочем, с первыми холодами — съехали. Прибавлю, что они были неплохие люди, а я — большая дура.)

Сидим наверху, на диване Володиного прощания. Комната вся в косых лучах — слёз.

— Марина, я очень странно себя чувствую — точно я уже умерла и посещаю места... — Марина, а граммофон — еще играет?

— С тех пор не заводила, Сонечка.

— И Володечки нет. Не то, что нет — его ведь часто не было — а вот то, что не войдет... Только неделя как уехал? Жаль...

...Если бы я знала, что все так будет ужасно, я бы может быть не пришла к вам в первый раз?

Это сюда кот к вам лазил, в дыру в окне? Каждую ночь — в котором часу? Марина, может быть это моя смерть бы-

ла — он ведь валерьянкой пах? — когда умирают ведь тоже пахнет эфиром... Потому что за чем ему было лазить, раз нечего было есть? Он за мной приходил, Марина, за нашей смертью, за концом этого всего... Такой светло-светло-серый, почти совсем невидный — как рассвет? И весь в слюнях? О, какая гадость, Марина, какая гадость! Ну, конечно, это был *не*-кот, Марина — уже по вашей покорности... А я в эти часы не спала и плакала, ужасно плакала, Марина, по вас, по мне...

...Марина, если вы когда-нибудь узнаете, что у меня есть подруги, подруга, — не верьте: все тот же мой вечный страх одиночества, моя страшная слабость, которую вы никогда не хотели во мне признать.

И — мужчина — не верьте. Потому что это всегда туман — или жалость — вообще самозабвение.

Вас же я любила в здравом уме и твердой памяти и все-таки любила — безумно.

Это, Марина, мое завещание.

...Завещаю вам Юру. Он не такой ничтожный, какой *даже нам* кажется, не такой бездушный... Я не знаю, в городе ли он сейчас, у меня был только час, и этот час — ваш — и я не смею просить вас... Марина! Я не смею вас просить, но я буду вас умолять: не оставьте Юру! Вы иногда о нем с добротой — хоть думайте... А если зимой встретите (я, конечно, осенью вернусь), скажите ему, но только не прямо — он этого не любит — ну, вы — сумеете! — что если я даже выйду замуж, он из ангелов все-таки мой любимый...

А Володю бы я всю жизнь так любила, всю жизнь любила, но он не мог меня любить — только целовать — да и то (чуть рассмеявшись) как-то нехотя, с надсадом. Оттого и целовал так крепко.

У вас чувство — он когда-нибудь вернется?

... И Алечки моей нет ... Передайте ей, когда вернется из своего Крылатского (какое название чудесное!), что я бы такую дочку хотела, такую дочку — хотя я знаю, что у меня их никогда не будет.

Почему, Марина, мне все ваше пришлось полюбить, все до последней паутины в доме, до последней трещины на доме? Чтобы все — потерять?

... Который час? Ах, это у вас — в «Приключении» — она все спрашивает: который час? И потом опять: который час? И никогда не слышит ответа, потому что это не «который час», а: когда — смерть? Марина, нельзя все вернуть назад, взять и повернуть — руками — как реку? Пустить — обратно? Чтобы опять была зима — и та сцена — и вы читаете «Метель». Чтобы был не последний раз, а — первый раз?

О, если бы мне тогда сказали, что все это так кончится! Я бы не только не пришла к вам в первый раз, я бы на свет прийти — отказалась ...

Но все-таки — который час, Марина? Это уже я — серьёзно. Потому что меня к вам — не хотели пускать, я еле умолила, дала честное слово, что ровно в четыре буду на вокзале ...

Марина, зачем я еду? Ведь я никого не убью — если не поеду? ведь — никто не умрет? Марина, можете ли вы меня понять? Я сейчас уезжаю от вас, которая для меня — все — потому что дала слово в четыре быть на вокзале. А на вокзале — для чего? Кто это все сделал?

— Нет, Марина, не стоит рассказывать — и времени уже нет. (Который час, Марина?) Было — как везде и всегда было и будет без вас: — *не было*, я не была, ничего не было. Я сейчас (навзрыд плачет) в первый раз за весь этот месяц — живу, последний час перед смертью — живу, и сколько бы мне еще ни осталось жить, Марина — это был мой последний час.

Встали, идем. Останавливаемся на пороге кухни:

— И моей Ирины нет. Я знала, что ее нет, но как-то не ждала пустой кроватки ... (Сама себе, потерянно:) — Галлида́, Галли-да́ ...

— Марина, я хочу пройти к вам — с фонарем проститься, с граммофоном ... Ах, я забыла — там теперь поляки и «мокрое чистое» белье ...

— Марина! Не провожайте меня! Даже на лестницу! Пусть будет так, как в первый раз, когда я к вам пришла: я — по ту сторону порога, вы — по эту, и ваше любимое лицо — во тьме коридора.

Я ведь еду с «второй партией» (смеясь сквозь слезы) — как каторжанка! Сонька-каторжанка и есть. Я не могу после вас — остаться с ними! Я их убью или сама из окна выброшусь! (Тихо, почти шепотом:)

От лихой любовной думки
Как поеду по чугунке,
Распыхтится паровоз.
И под гул его угрюмый
Буду думать, буду думать,
Что сам Чёрт меня унес...

Марина! Как *ужасно* сбывается! Потому что это сам Чёрт меня уносит от вас...

Последние ее слова в моих ушах:

— Марина! Я осенью вернусь! Я осенью вернусь!

— Ну что, видели вашу Сонечку?

— Сонечку? Когда?

— То есть как — когда? Вчера, конечно, раз она вчера же уехала. Неужели она к вам не зашла? Так вот она какая неверная.

«Не знаю отчего, мне вдруг представилось, что комната моя постарела... Стены и полы облиняли, все потускнело; паутины развелось еще больше. Не знаю отчего, когда я взглянула в окно, мне показалось, что дом, стоявший напротив, тоже одряхлел и потускнел в свою очередь, что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались и стены из темно-желтого яркого цвета стали пегие.

Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих; или, может быть, передо мною мелькнула так

неприветно и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, как я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, так же одиноким...»

После первого удара, на который я ответила камнем всей подставленной груди, смертным холодом сердца, бессмертным холодом лба — цезаревым (смеяться нечего!) — И ты, Брут? — в котором я слышу не укор, а — сожаление, а — снисхождение: точно Брут — лежит, а Цезарь над ним — клонится...

Но сократим и скажем просто: я не поняла, но приняла — именно как принимают удар: потому что ты — тело, и это тело было по дороге.

До моего отъезда из России — в апреле 1922 г., то есть целых три года, я не сделала ни одной попытки разыскать Сонечку, три года существования с нею в одной стране я думала о ней, как об умершей: минувшей. И это — с первой минуты вести, с последнего слога фразы: — Была и уехала.

«Но, чтобы я помнил обиду мою, Настенька?»

Обиды не было.

Я *знала,* что ее неприход — видимость, отсутствие — мнимость, может ли не прийти тот, кто тебе сопутствует, как кровь в жилах, *отсутствовать* — тот, кто не раньше увидит свет, чем твоя сердечная кровь?

И если я вначале как бы сердилась и негодовала, то только на поверхности — на поверхность поступка, надеясь этим своим негодованием обратить все в обычное: отвратить — роковое. (Если я на Сонечку рассержусь и обижусь — то значит она — есть.)

Но ни секунды я в глубине своей души не поверила, что она — почему-нибудь не пришла, та́к — не пришла, *не пришла.*

И чем больше мне люди — сочувствовали: «неблагодарность, легкомыслие, непостоянство» — тем одиноче и глубже я — знала.

Я знала, что мы должны расстаться. Если бы я была

мужчиной — это была бы самая счастливая любовь — а та́к — мы неизбежно должны были расстаться, ибо любовь ко мне неизбежно помешала бы ей — и уже мешала — любить другого, всегда бывшего бы тенью, которую она всегда бы со мною предавала, как неизбежно предавала и Юру и Володю.

Ей неизбежно было от меня оторваться — с мясом души, ее и моей.

Сонечка от меня ушла — в свою женскую судьбу. Ее неприход ко мне был только ее послушанием своему женскому назначению: любить мужчину — в конце концов все равно какого — и любить его одного до смерти.

Ни в одну из заповедей —я, моя к ней любовь, ее ко мне любовь, наша с ней любовь — не входила. О нас с ней в церкви не пели и в Евангелии не писали.

Ее уход от меня был простым и честным исполнением слова Апостола: «И оставит человек отца своего и мать свою . . .» Я для нее была больше отца и матери и, без сомнения, больше любимого, но она была обязана его, неведомого, предпочесть. Потому что так, творя мир, положил Бог.

Мы же обе шли только против «людей»: никогда против Бога и никогда против человека.

Но как же согласовать то чувство радостной собственности, Сонечкиной, для меня, вещественности и неотъемлемости, то чувство кольца на пальце — с этими отпущенными, отпустившими, опустившимися руками?

А — вот: так владев — можно было только так потерять.

Читатель, помнишь? — «или уж вместе с пальцем . . .»

Сонечку у меня оторвали — вместе с сердцем.

Умный зверь, когда наступает смерть, сразу знает: то самое — и не лечится травками. Так и я, умный зверь, сразу свою смерть — узнала, и брезгуя всеми травками и поправками, ее приняла. Не: Сонечка для меня умерла, и не любовь умерла, — Сонечка из моей жизни умерла, то есть вся ушла внутрь, в ту гору, в ту пещеру, в которой она так провидчески боялась — пропасть.

Ведь все мое чудо с нею было — что она была снаружи меня, а не внутри, не проекцией моей мечты и тоски, а самостоятельной вещью, вне моего вымысла, вне моего домысла, что я ее не намечтала, не напела, что она не в моем сердце, а в моей комнате — была. Что раз в жизни я не только ничего не добавила, а — еле совладала, то есть получила в полную меру — всего охвата и отдачи.

Сонечка была мне дана — на подержание — в ладонях. В объятьях. Оттого, что я ребенка подержала в руках, он не стал — мой. И руки мои после него так же пусты.

Каждого подержанного ребенка у нас отбирает — мать. У Сонечки была мать — судьба.

Обида? Измена?

Сонечкин неприход ко мне в последний раз был тот же Володин приход ко мне — в последний раз, — вещь того же веса: *всего* существа. И значил он совершенно то же самое.

Та́к, как Володя — пришел, она — не пришла, так же всем существом не пришла, как он — пришел.

Сонечкин неприход ко мне был — любовь.

Это был первый шаг ее отсутствия из моей жизни, первый час ее безмолвного потустороннего во мне присутствия, в меня — вселения.

Сонечка не пришла ко мне потому что бы — умерла, просто изошла бы слезами, от всей Сонечки — только бы

лужица. Или сердце бы стало на последнем слоге моего имени.

Володя пришел, потому что не мог расстаться, не простясь, Сонечка не пришла — потому что проститься не могла.

Но и по еще одному-другому — не пришла: Сонечка не пришла — потому что *уже* умерла.

Так не приходят — только умершие, потому что не могут, потому что земля держит. И я долго-долго чувствовала ее возле себя, почти что в досягаемости моей руки, совершенно так же, как чувствуешь умершего, на руке которого не смыкаешь рукú только потому, что этого — не дóлжно, потому что это опрокинуло бы все ведомые нам законы: от равного страха: встретить пустоту — и встретить руку.

Сонечки, в конце концов, мне стало только не слышно и не видно.

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь . . .»

Нет, она никогда мне не была — хлебом насущным: кто — я, чтобы *такое* мне могло быть — хлебом насущным? Этого никогда бы не допустила моя humilité. Не насущным хлебом, а — чудом, а такой молитвы нет: — Чудо насущное даждь нам днесь. В ней не было ни тяжести насущного хлеба, ни его железной необходимости, ни нашей на него обреченности, ничего от «в поте лица твоего» . . . Разве Сонечку можно — заработать? Даже трудом всей жизни? Нет, такое дарится только в подарок.

Как Корделия, в моем детском Шекспире, про Короля Лира — о соли, так я про Сонечку — о сахаре, и с той же скромностью: она мне была необходима — как сахар. Как всем известно, сахар — не необходим, и жить без него можно, и четыре года революции мы без него жили, заменяя — кто патокой, кто — тертой свеклой, кто —сахарином, кто — вовсе ничем. Пили пустой чай. От этого не умирают. Но и не живут.

Без соли делается цынга, без сахару — тоска.

Живым белым *целым* куском сахара — вот чем для меня была Сонечка.

Грубо? Грубо — как Корделия: — «Я вас люблю, как соль, не больше, не меньше». Старого короля можно любить, как соль, но... маленькую девочку? Нет, довольно соли. Пусть раз в мире это будет сказано: я ее любила, как сахар — в революцию. И всё тут.

Kannst Du dem Augenblicke sagen:
— Verweile noch! Du bist — so schön...

Нет, этого у меня с нею не было. Было другое, обратное и бóльшее:

Behüt Dich Gott! — es wär zu schön gewesen,
Behüt Dich Gott! — es hat nicht sollen sein.

Было великое поэтическое сослагательное: *бы*, единственное поэтическое владение: *бы*.

Была — судьба. Было русское «не-судьба».

Вспомним слово Царя Давида:

— Человеку от Бога положено семьдесят лет, а что свыше — уже Божья милость.

Нам с Сонечкой было положено три месяца, нет! — *вся* Сонечка, вся трехмесячная вечность с нею уже были этим *свыше* — человеческого века и сердца.

Мария... Миранда... Мирэй... — ей достаточно было быть собой, чтобы быть — всеми...

Так сбылось на ней пророческое слово забывчивого Павлика:

Единая под множеством имен...

Для меня — сбылось. Но не только имена обрели лицо.

Вся мужская лирика, доселе безобъективная, или с обратным объектом — самого поэта — ибо быть *ею* всей поэтовой любви, вставить в нее — себя: свое лицо как в зеркало, я не могла, ибо сама хотела любить и сама была поэт — вся мужская лирика для меня обрела лицо: Сонечкино. Все эти пустоты ты, она — на всех языках имеющие дать и дающие только переполненность поэтова сердца и полноту его *я*, вдруг — ожили, наполнились ее лицом. В овальной пустоте, в круглом нуле всякого женского образа в стихах поэта — Сонечкино лицо оказалось как в медальоне.

Но нет, у Ленау лучше — шире!

Es braust der Wald, am Himmel ziehn
Des Sturmes Donnerflüge,
Da mal'ich in die Wetter hin
— O Mädchen! Deine Züge.

Все песни всех народов — о Сонечке, всякий дикарь под луной — о Сонечке, и киргиз — о Сонечке, и таитянин — о Сонечке, весь Гёте, весь Ленау, вся тоска всех поэтов — о Сонечке, все руки — к Сонечке, все разлуки — от Сонечки...

Нужно ли прибавлять, что я уже ни одного женского существа после нее не любила, и уже конечно не полюблю, потому что люблю все меньше и меньше, весь остающийся жар бережа для тех — кого он уже не может согреть.

Зима 1919—1920 г. В дверь уже не стучат — потому что больше не закрывается: кто-то сломал замок. Итак, вместо стука в дверь — стук сапог, отряхающих снег, и голос изнизу:

— Здесь живет Марина Ивановна Цветаева?

— Здесь. Подымитесь, пожалуйста, по лестнице.

Входит. Чужой. Молодой. Знаю: этого человека я никогда не видала. Еще знаю: вошел — враг.

— Я А-в, брат Володи А-ва. У вас нет вестей от брата?

— Были. Давно. Одно письмо. Тогда же.

— У *нас* — никогда — ничего.

— Всего несколько слов: что надеется на встречу, здоров . . .

— А с тех пор?

— Ничего.

— Вы мне разрешите вам поставить один вопрос. И заранее меня за него извините. Какие отношения у вас были с братом? Я вас спрашиваю, потому что — мы были с ним очень дружны, все, вся семья — он тогда, на последнюю Пасху — ушел, пошел к вам, и (с трудом, по-Володиному сглатывая) свой последний вечер провел — с вами . . . Дружба? Роман? Связь?

— Любовь.

— Как вы это сказали! Как это понять?

— Так, как сказано. И — ни слова не прибавлю.

(Молчит. Не сводит глаз, не подымаю своих.)

Я: — Дайте адрес, чтобы в случае, если . . .

— Вы не знаете нашего адреса?

— Нет, Володя всегда ко мне приходил, а я ему не писала . . .

— И вы ничего не знали о *нас*, отце и матери, братьях?

— Я знала, что есть семья. И что он ее любит.

— Так что же это за отношение такое . . . нечеловеческое?

(Молчим)

— Значит — вы его никогда не любили — как я и думал — потому что от любимой женщины не уезжают — от — любящей . . .

— Думайте, что хотите, но знайте одно — и родителям скажите: я ему зла не сделала — никакого — никогда.

— Странно это все, странно, впрочем, он — актер, а вы — писательница . . . Вы меня, *пожалуйста,* простите. Я был резок, я плохо собой владел, я не того ждал . . . Я знаю, что так с женщинами не разговаривают, вы были очень добры ко мне, вы бы просто могли меня выбросить за дверь. Но

если бы вы знали, какое дома — горе. Как вы думаете — он жив?

— Жив.

— Но почему же он не пишет? Даже вам не пишет?

— Он — пишет, и вам писал, и много раз — но письма не доходят.

— А вы не думаете, что он — погиб?

— Сохрани Бог! — нет.

— Я так и родителям передам. Что вы уверены, что он — слава Богу! — (широкий крест) — жив — и что пишет — и что . . .

А теперь я пойду. Вы меня простили?

— Обиды не было.

Уже у выхода: — Как вы так живете — не запираясь? И ночью не запираетесь? И какая у вас странная квартира: темная и огромная, и все какие-то переходы . . . Вы разрешите мне изредка вас навещать?

— Я вам сердечно буду рада.

— Ну, дай вам Бог!

— Дай — *вам* Бог!

Не пришел никогда.

Чтобы закончить о Юрии З. Перед самым моим отъездом из России, уже в апреле 1922 г., в каком-то учреждении, куда я ходила из-за бумаг, на большой широкой каменной лестнице я его встретила в последний раз. Он спускался, я подымалась. Секундная задержка, заминка — я гляжу и молчу — как тогда, как всегда: снизу вверх, и опять — лестница! Лицо — как пойманное, весь — как пойманный, забился как большая птица: — Вы, вы не думайте, вы не поняли, вы не так поняли . . . Все это так сложно . . . так далеко́-не-просто . . .

— Да, да, конечно, я знаю, я — давно знаю . . . Прощайте, Ю. А., совсем прощайте, я на днях уезжаю совсем — уезжаю . . .

И — вверх, а он — вниз. И — врозь.

О действующих лицах этой повести, вкратце:

Павлик А. — женат, две дочери (из которых одна — не в память ли Сонечки? — красавица), печатается.

Юрий З. — женат, сын, играет.

Сестра Верочка, с которой я потом встретилась в Париже и о которой — отдельная повесть, умерла в 1930 г., от туберкулеза, в Ялте, за день до смерти написав мне свою последнюю открытку карандашом: — Марина! Моя тоска по Вас такая огромная, как этот слон.

. . . Они были брат и сестра, и у них было одно сердце на двоих, и все его получила сестра . . .

Володя А. пропал без вести на юге — тем же летом 1919 г.

Ирина, певшая Галлиду́, умерла в 1920 г., в детском приюте.

Евгений Багратионович Вахтангов давно умер в России.

Вахтанг Леванович Мчеделов давно умер в России.

Юра С. (давший Але пирожок) умер здесь, в Париже, достигнув славы.

Другой Юра — Н. (с которым мы лазили на крышу) — не знаю.

Аля в 1937 г. уехала в Москву, художница.

Дом в Борисоглебском — стоит. Из двух моих тополей один — стоит.

Я сказала: «действующие лица». По существу же действующих лиц в моей повести не было. Была любовь. Она и действовала — лицами.

Чем больше я вас оживляю, тем больше сама умираю, отмираю для жизни, — к вам, в вас — умираю. Чем больше вы — здесь, тем больше я — там. Точно уже снят барьер между живыми и мертвыми, и те и другие свободно ходят во времени и в пространстве — и в их обратном. Моя смерть

— плата за вашу жизнь. Чтобы оживить Аидовы тени, нужно было напоить их живою кровью. Но я дальше пошла Одиссея, я пою вас — своей.

---

29 апреля 1922 г., русского апреля — как я тогда простонародно говорила и писала. Через час — еду за границу. *Всё.*

Стук в дверь. На пороге — Павлик А., которого я не видала — год?

Расширенные ужасом, еще огромнейшие, торжественные глаза. Соответствующим голосом (голос у него был огромный, странный — в таком маленьком теле), но на этот раз огромнейшим возможного: целым голосовым аидовым коридором:

— Я . . . узнал . . . Мне Е. Я. сказала, что вы . . . нынче . . . едете за границу?

— Да, Павлик.

— Марина Ивановна, можно? . .

— Нет. У меня до отъезда — час. Я должна . . . собраться с мыслями, проститься с местами . . .

— Но — на одну минуту?

— Она уже прошла, Павлик.

— Но я вам все-таки скажу, я должен вам сказать (глубокий глоток) — Марина, я бесконечно жалею о каждой минуте этих лет, проведенной *не* с вами . . .

(У меня — волосы дыбом: слова из Сонечкиного письма . . . Значит, это она со мной сейчас, устами своего поэта — прощается?!)

— Павлик, времени уже нет, только одно: если вы меня когда-нибудь — хоть чу-точку! — любили, разыщите мне мою Сонечку Голлидэй.

Он, сдавленным оскорблением голосом:

— Обещаю.

Теперь — длинное тире. Тире — длиной в три тысячи верст и в семь лет: в две тысячи пятьсот пятьдесят пять дней.

Я гуляю со своим двухлетним сыном по беллевю'скому парку — Observatoire. Рядом со мной, по другую мою руку, в шаг моему двухлетнему сыну, идет Павлик А., приехавший со студией Вахтангова. У него уже две дочери и (кажется?) сын.

— А . . . моя Сонечка?

— Голлидэй замужем и играет в провинции.

— Счастлива?

— Этого я вам сказать не могу.

И это — все.

Еще тире — и еще подлиннее: в целых десять лет. 14-е мая 1937 г., пятница. Спускаемся с Муром, тем, двухгодовалым, ныне двенадцатилетним, к нашему метро Mairie d'Issy и приблизительно у лавки Provence он — мне, верней — себе:

— A American Sunday это ведь ихнее Dimanche Illustré!

— А что значит — Holiday?

— Свободный день, вообще — каникулы.

— Это значит — праздник. Так звали женщину, которую я больше всех женщин на свете любила. А может быть — больше всех. Я думаю — больше всего. Сонечка Голлидэй. Вот, Мур, тебе бы такую жену!

Он, возмущенно: — Ма-ама!

— Я не говорю: *эту* жену, она уже теперь немолодая, она была года на три моложе меня.

— Я не хочу жениться на старухе! Я вообще не хочу жениться.

— Дурак. Я не говорю: на Сонечке Голлидэй, а на такой, как Сонечка. Впрочем — *таких нет*, так что ты можешь успокоиться — и вообще никто ее не достоин.

— Мама! Я ведь ее не знаю, вы говорите о чем-то, что *вы* знаете, — вы конечно можете мне рассказать . . .

— Но тебе ведь — неинтересно . . .

(Он, думая о ждущем его на углу бульвара Raspail газетном киоске с американскими Микэями:)

— Нет, очень интересно . . .

— Мур, она была маленькая девочка, и, — ища слова, — и настоящий чертенок! У нее были две длинных, длинных темных косы . . . (У Мура — невольная гримаса: „au temps des cheveux et des chevaux!") . . . и она была такая маленькая . . . куда меньше тебя (гримаса увеличивается) — потому что ты уже больше меня . . . (соблазняя) и такая храбрая: она обед носила юнкерам под выстрелами в Храм Христа Спасителя . . .

— А почему эти юнкера в церкви обедали?

— Неважно. Важно, что под выстрелами. Ей я на прощанье сказала: — Сонечка, что бы со мной ни было, пока вы *есть* — все хорошо. Она была самое красивое, что я когда-либо в жизни видела, самое сладкое, что я когда-либо в жизни ела . . . (Мур: — Фу, мама!) Она мне писала письма, и в одном письме, последнем: — Марина! Как я люблю ваши руки, которые должны быть только целуемы, а они двигают шкафы и подымают пуды . . .

— Ну, это уж — романтизм! Почему — целуемы?

— Потому что . . . потому что . . . (prenant l'offensive) — а что ты имеешь на это возразить?

— Ничего, но если бы она например написала (запинка, ищет) . . . которые должны только нюхать цветы . . .

И поняв, сам первый смущенно смеется.

— Да, да, Мур, на каждом пальце по две ноздри! Сколько всего будет ноздрей, Мур?

(Смеемся оба. Я, дальше:)

— И еще одно она мне сказала: — Марина! Знать, что вы — есть — знать, что смерти — нет.

— Ну, это конечно для вас flatteur.

— При чем?! Просто она сказала то, что есть, то, что тогда было, ибо от меня шла такая сила жизни — и сейчас шла бы . . . и сейчас идет, да только никто не берет!

— Да, да, конечно я понимаю, но все-таки . . .

— Я непременно напишу Але, чтобы ее разыскала, пото-

му что мне необходимо, чтобы она знала, что я никого, никого за всю жизнь так...

Мы у метро, и разговор кончен.

Маленькое тире — только всего в один день:

15-е мая 1937 г., суббота. Письмо из России — авионом — тяжелое. Открываю — и первое, что вижу, совсем в конце: Сонечка Голлидэй — и уже знаю.

А вот *что я* — уже знаю:

«Мама! Забыла Вам написать! Я разыскала следы Сонечки Голлидэй, Вашей Сонечки — но слишком поздно. Она умерла в прошлом году от рака печени — без страданий. Не знала, что у нее рак. Она была одна из лучших чтиц в провинции и всего года два назад приехала в Москву. Говорят, что она была совершенно невероятно талантлива...»

А вот — вторая весть, уже распространенная: рассказ сестры одной Сонечкиной подруги — Але, Алей записанный и мне посланный:

«Она вышла замуж за директора провинциального театра, он ее очень любил и был очень преданный. Все эти годы — с 1924 г. до смерти — Соня провела в провинции, но приезжала в Москву довольно часто. Мы все ее уговаривали устроиться и работать в Москве, но она как-то не умела. Конечно, если бы Вахтангов остался в живых, Соня жила бы иначе, вся бы ее жизнь иначе пошла. Ее очень любил К-в, он вообще мягкий и добрый человек, но помочь ей никак не сумел. Кроме того, у него очень ревнивая семья, и Соне трудно было бывать у них. Тяжело. С З-ским она почти не виделась. Редко, редко. С.? Одно время он очень увлекался ею, ее даром, но его увлечения длятся недолго.

Ей надо было заниматься только читкой, но она так была связана с театром! Разбрасывалась. А в театре, конечно

— труднее. В провинциальных театральных коллективах она была ну... ну как алмаз! Но ей редко попадались хорошие роли. Если бы она занималась читкой — она одна на сцене — представляете себе? Да, она была маленькая-маленькая. Она часто играла детей. Как она любила театр! А если бы вы знали, как она играла — нет, не только в смысле игры (я-то ее мало видела, она работала главным образом в провинции) — но она была настоящим героем. Несколько лет тому назад у нее начались ужасные желудочные боли. И вот она сидела за кулисами с грелкой вот тут, потом выходила на сцену, играла, а потом, чуть занавес, опять за грелку.

— Но как же тогда, когда начались эти боли, она не пошла, ее не повели к доктору?

— Она приехала в Москву и пошла к очень хорошему гомеопату. Он ей дал лекарства, и боли как рукой сняло. Потом она только к этому гомеопату и ходила. Так она прожила года четыре и все время себя хорошо чувствовала. В последний раз, когда она приехала в Москву, я нашла, что она страшно похудела, одни глаза, а все лицо — очень стало маленьким. Она очень изменилась, но этого не знала, и даже когда смотрелась в зеркало — не видела. Потом ее муж мне сказал, что она ничего не может есть. Мы позвали доктора, а он сказал, что надо позвать хирурга. Хирург ее внимательно осмотрел и спросил, нет ли у нее в семье раковых заболеваний. Она сказала, что нет. Тогда он сказал, что ей нужно лечь в больницу. Мы от нее конечно скрывали, что́ у нее. Но ей ужасно не хотелось в больницу, и она все время плакала и говорила: — Это ехать в гроб! Это — гроб! Но в больнице она успокоилась и повеселела и начала строить всякие планы. Ей сделали операцию. Когда ее вскрыли, то увидели, что слишком поздно. Доктора сказали, что жить ей осталось несколько дней.

К ней все время приходили ее муж и моя сестра. Она не знала, что умирает. Она все время говорила о том, как будет жить и работать дальше. Сестра у нее была в день ее смерти, и муж, и еще кто-то. Софья Евгеньевна любила порядок, попросила сестру все прибрать в палате (она лежала в отдельной палате). Ей принесли много цветов, и сестра их поставила в воду, убрала все. Соня сказала: — А теперь я бу-

ду спать. Повернулась, устроилась в кровати и уснула. Так во сне и умерла.

Я не помню часа и числа, когда она умерла. Меня не было в Москве. Сестра наверное помнит. Мне кажется — под вечер. Когда же это было? Летом, да летом. Тогда прилетели челюскинцы.

Она так, так часто вспоминала вашу маму, так часто рассказывала нам про нее и про вас, так часто читала нам ее стихи. Нет, она никогда, никогда ее не забывала».

... После ее смерти ее муж куда-то уехал, пропал. Где он сейчас — неизвестно.

Соню — сожгли.

«Когда прилетели челюскинцы...» Значит — летом 1934 г. Значит — не год назад, а целых три. Но год — или три — или три дня — я ее больше не увижу, что́ — всегда знала, — и она никогда не узнает, как...

Нет! она навсегда — знала.

«Когда прилетели челюскинцы» — это звучит почти как: «Когда прилетели ласточки»... явлением природы звучит, и не лучше ли, в просторе, и в простоте, и даже в простонародности своей, это неопределенное обозначение — точного часа и даты?

Ведь и начало наше с нею не — такого-то числа, а «в пору первых зеленых листиков...»

Да, меня жжет, что Сонечку — сожгли, что нет креста — написать на нем — как она просила:

И кончалось все припевом:
— Моя маленькая!

Но — вижу ее в огне, *не* вижу ее — в земле! В ней совсем не было той покорности и того терпения, одинаково

требующихся от отжившего тела и от нежившего зерна. В ней ничего не было от зерна, все в ней было:

Ja! ich weiß woher ich stamme
Unersättlich wie die Flamme
Nähr ich und verzehr ich mich!
Glut wird alles, was ich fasse,
Kohle — alles, was ich lasse, —
Flamme bin ich sicherlich!

Знаю я — откуда родом!
Точно огнь — ненасытимый,
Сам себе я корм и смерть.
Жар — все то, что я хватаю,
Уголь — все, что я бросаю,
Я воистину огонь!

Жжет, конечно, что некуда будет — если это будет — будет — прийти постоять. Не над чем. Что Сонечки нет — совсем. Даже ее косточек. Но Сонечка — и косточки . . . нет!

Инфанта, знай: я на любой костер готов взойти . . .

Первое, что я о ней услышала, было: костер, последнее: сожгли. Первое, что я о ней услышала, было: костер, и последнее: костер.

Но как странно, как наоборот сбылись эти строки Павлика:

. . . Лишь только бы мне знать, что будут на меня
глядеть —
Твои глаза . . .

— Ведь Инфанту — жгли, а Карлик — глядел: на нее, вечно-молодую, сжигаемую, несгораемую — поседевший, поумневший Карлик Инфанты!

Моя бы воля — взяла бы ее пепел и развеяла бы его с вершины самой (мне еще сужденной) высокой горы — на все концы земного шара — ко всем любимым: небывшим и будущим. Пусть даже — с Воробьевых гор (на которые мы с ней так и не собрались: у меня — дети, очереди . . . у нее — любовь . . .)

Но вдруг я — *это* делаю? Это — *делаю*? Ни с какой горы,

ни даже холма: с ладони океанской ланды рассеиваю ее пепел — вам всем в любовь, небывшие и будущие?

...А теперь — прощай, Сонечка!

Да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастия, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!

Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..

Lacanau-Océan, лето 1937 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание объединяет неизданные или не полностью изданные произведения Марины Цветаевой от второго ее сборника стихов (1913—1915) — первым был *Вечерний альбом* — до последней ее прозаической повести (1937).

ЮНОШЕСКИЕ СТИХИ

Книга эта была подготовлена к печати самой Мариной Цветаевой. О попытке ее издать в 1919 г. М. Цветаева рассказала в очерке *Герой труда* (*Проза*, Нью-Йорк, 1956, стр. 226—227):

> «Был 1919 г. — самый чумной, самый черный, самый смертный из всех тех годов Москвы. Не помню, кто, кажется, Ходасевич надоумил меня снести книгу стихов в Лито. * — «Лито ничего не печатает, но все покупает». Я: «Чудесно». — «Отделом заведует Брюсов». Я: «Чудесно, но менее. Он меня не выносит». — «Вас, но не ваши стихи. Ручаюсь, что купит. Все-таки — пять дней хлеба».
>
> Переписала «Юношеские стихи» (1913 г. — 1916 г., до сих пор неизданные) и «Версты» 1. (изданы в 1922 г. Госиздатом) и, взяв в правую — пятилетнюю тогда ручку своей дочери Али, в левую — рукопись, пошла пытать счастье в Лито. Никитская, кажется? Брюсова не было, был кто-то, кому я рукописи вручила. Вручила и кануло — и стихи и я.
>
> Прошло около года. Я жила, стихи лежали. Вспоминала о них с неизменной неприязнью, как о вещи одолженной, вовремя не спрошенной и потому уже — не моей. Все же, как-то собралась. Прихожу в Лито: пустота: Буданцев. — «Я пришла узнать про две книги стихов, сданных около го-

* Литературный отдел.

ду назад». Легкое смущение, и я, выручая: «Я бы очень хотела получить обратно рукописи, — ведь ничего, очевидно, не вышло?» Буданцев, радостно: «Не вышло, не вышло, между нами — Валерий Яковлевич о ч е н ь против вас». — «Здесь и малого достаточно. Но рукописи — живы?» — «Живы, живы, сейчас верну». — «Чудесно. Это больше, чем в наши дни может требовать поэт».

Итак, домой с рукописями. Дома раскрываю, листаю, и — о сюрприз — второй в жизни автограф Брюсова! В целых три строчки отзыв — его рукой!

«Стихи М. Цветаевой, как ненапечатанные своевременно и не отражающие соответственной современности, бесполезны». Нет, еще что-то было, запомнила, как всегда, высшую ноту — конец. Зрительное же впечатление именно трех строк брюсовского сжатого, скупого, озабоченного почерка. Что могло быть в тех полутора? Не знаю, но хуже не было. Отзыв сей, вместе с прочими моими бумагами, хранится у друзей, в Москве. Развитием римской формулировки Брюсова — российски-пространная (на сей раз машинная) отпись его поклонника, последователя и ревнителя — С. Боброва. «До тошноты размазанные разглагольствования по поводу собственной смерти . . .» Это о «Юношеских стихах», о «Верстах» же помню всего одно слово, да и то не точно, вижу его написанным, но прочесть не могу, вроде «гносеологические», но означающие что-то, касающееся ритмики. «Стихи написаны тяжелым, неудобоваримым, «гносеологическим» ямбом» . . . Брюсов дал тему, Бобров провариировал, в итоге — рукописи на руках.

Госиздат в 1922 г., в лице цензора коммуниста Мещерякова, оказался и сговорчивее и великодушнее».

Некоторые из «Юношеских стихов» появились еще до революции в журнале «Северные Записки».

В *Избранном* (Москва, 1961) было напечатано из этой книги 6 стихотворений; в *Избранном* (Москва, 1965, «Библиотека поэта») — 22 стихотворения.

Стр. 6. *Идешь на меня похожий* Печатается по первоначальному тексту в *Северных Записках*, 1915, № 5—6.

Стр. 10. *Я сейчас лежу ничком* Обращено к М. С. Фельдштейн (1885—1948), впоследствии мужу В. Я. Эфрон, невестки М. Цветаевой.

Стр. 12. *Асе* Посвящено сестре — Анастасии Ивановне Цветаевой (род. в 1894 г.)

Стр. 14. *Сергею Эфрон-Дурново* Посвящено мужу М. Цветаевой — Сергею Яковлевичу Эфрон (Дурново по матери) (1893—1941) Свадьба состоялась в 1912 г.

«В Сереже соединены, — писала перед свадьбой М. Цветаева В. Розанову, — блестяще соединены — две крови: еврейская и русская. Он блестяще одарен, умен, благороден. Душой, манерами, лицом — весь в мать. А мать его была красавицей и героиней. Мать его урожденная Дурново» (*Неизданные письма,* YMCA PRESS, 1972, стр. 23).

Стр. 23. *Героям Двенадцатого года* Печатается по первоначальной рукописи. В последующих редакциях отпала первая строфа, что повлекло и изменение названия: «Генералам Двенадцатого года».

Тучков-Четвертый А. Л. (1777—1812) — генерал-майор, четвертый в своем поколении, погибший в Бородинском сражении.

Стр. 28. *Чародей* Поэма в честь Льва Львовича Кобылинского (1874—1947) — поэта и критика известного более под псевдонимом Эллис. Поклонник и переводчик Бодлера, Эллин примкнул к ранним московским символистам. См. два письма М. Цветаевой к Эллису в *Неизданных письмах,* YMCA PRESS, 1972, стр. 9—20.

Отрывки из поэмы опубликованы в *Воспоминаниях* Анастасии Цветаевой, где подробно рассказано о дружбе Эллиса с домом Цветаевых (Москва, 1974, стр. 307—312).

Стр. 43. *Але* Ариадна — дочь Марины Цветаевой (1912—1975). В поздней правке прибавлено четверостишие-эпиграф, изменена пунктуация и исправлены следующие строки:

21 Целый день — на скакуне
23 Лорда Байрона в огне
45 Ворожит мое перо!
49 Будет — с сердцем не воюй
50 Грудь Дианы и Минервы

Стр. 48. *П. Э.* Этот цикл стихотворений посвящен памяти Петра Яковлевича Эфрона (1881—1914).

Стр. 60. *Бабушке* Посвящено памяти Марии Лукиничны Бернацкой, в замужестве Мейн (1841—1869), бабушке М. Цветаевой по материнской линии.

Стр. 77. *Мне нравится, что вы больны не мной* Посвящено М. А. Минцу (1881—1917), ставшему впоследствии мужем Анастасии Цветаевой.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1915—1918

Печатаются впервые. Заглавие не совсем соответствует содержанию книги: стихи, за исключением двух первых, относятся к 1917 и 1918 гг. Судя по всему они должны были войти во вторую книгу *Вёрст*, которая так и не увидела света.

Стр. 130. *Пригвождена* Первое стихотворение напечатано в составе *Избранных произведений* (Москва, 1965) с указанием, что взято из сборника стихотворений подготовленного автором к изданию в 1940 г.

КАМЕННЫЙ АНГЕЛ

Печатается впервые по не совсем исправной машинописи.

Принадлежит к циклу шести романтических пьес написанных в 1918-19 году: «Червонный валет», до сих пор не опубликованная, «Метель», напечатанная в *Звене* (Париж, 1923), затем в *Избранных произведениях (*Москва, 1965), «Фортуна» — в *Современных Записках* (XV, 1923), «Приключение» — в *Воле России* (XVIII, 1923), затем в *Избранных произведениях,* «Каменный Ангел», «Феникс (Понец Казановы)» — в *Воле России* (VIII—IX, 1924), (под заглавием «Конец Казановы» была издана отдельной книгой в России, в 1922 г.).

«Я стала писать пьесы — это пришло, как неизбежность, просто голос перерос стихи, слишком много вздоху в груди стало для флейты» (запись 1919 г.).

Об этом периоде рассказала в своих воспоминаниях Ариадна Эфрон (*Звезда*, 3, 1973):

«Все началось со встречи с поэтом — совсем юным Павликом Антокольским и с его совсем юной и блистательной поэзией — еще в 1917 году. Павлик к тому же оказался и драматургом и актером и ввел Марину в круг своих друзей, в магический круг Вахтанговской Третьей студии, который — на время — замкнул ее в себе.

(...) Как же они были милы, как прелестны молодостью своей, подвижностью, изменчивостью, горячностью ее, и ее же серьезностью, даже важностью — в деле. А дело их было — игра. Игра была их, взрослых, делом! — притихала в углу, чтобы не услали спать, и смотрела на них с полнейшим пониманием, потому что я, маленькая, *тоже* играла, и тоже в сказки, как и они. Приобщенная обстоятельствами к миру взрослых, я быстро научилась распознавать их, незаметная им. Только Маринина подруга, та, кому были написаны «Стихи к Сонечке», Софья Евгеньевна Голлидэй, «подаренная» Марине Павликом, осознала и приняла в сердце свое и нас с Ириной, особенно Ирину — за ее младенческую нежность, кудрявость, незащищенность.

Кроме Сонечки и Павлика нас постоянно навещали три Юрия — Завадский, Никольский, Серов, и один Володя — Алексеев, вскоре вышедший из игры — в гражданскую войну, в которой и след его потерялся. Еще запомнилась мне, внешней неприступностью своей и большой добротой, студийка Елена Владимировна (Лиля) Шик; из-за длинного носа и покладистого нрава ей всегда доставались так называемые характерные — а попросту старушечьи — роли.
(...) Шесть пьес — «Метель», «Фортуна», «Каменный ангел», «Червонный валет», «Феникс» и «Приключение» (объединенных впоследствии общим названием «Романтика») написала она для своих друзей; две из них — «Каменный ангел» и «Червонный валет» — являли даже ярко выраженные — на поверхности лежащие! — черты символизма, столь близкие тогдашним вкусам студийцев — чтоб им легче было играть!

Все эти вещи, очень сценичные, с блистательными диалогами, имели, при чтении их Мариной студийцам, большой, многоголосый, что называется — *шумный* успех; однако ни одна из них не была ими поставлена. Может быть, потому, что воссоздавать на подмостках самих себя, свой об-

раз, даже облик, свой характер актерам несподручно. Может быть, они просто прошли мимо, не сумев понять, что это *им, для них* и насколько *ей* важно, чтобы ее дар, ее вклад был ими принят. Она ведь им об этом не сказала ни слова, как всегда потопив в собственной гордости и робости надежду, заранее предвестив себе ее несбыточность».

ПОВЕСТЬ О СОНЕЧКЕ

Часть первая печатается по публикации в *Русских Записках* (III, 1938), стр. 36—103. Вторая часть — впервые, по машинописи оставленной М. Цветаевой на хранение в Базельском университете.

Голлидэй Софья Евгеньевна (1896—1935) — актриса и чтица, ученица Вахтангова. М. Цветаева посвятила Сонечке Голлидэй цикл в 10 стихотворений, написанных в 1919-20 г. К 1937 г., когда появилась «Повесть», относится набросок стихотворения, также обращенного к Сонечке:

Были огромные очи:
Очи созвездья Весы.
Разве что Нила короче
Были две черных косы.
Ну, а сама — меньше
Все, что имелось длины, —
В косы ушло до подножия,
В очи — двойной ширины.

Остальные главные действующие лица «Повести»:

Павлик А. — Павел Антокольский (род. в 1891 г) — известный поэт.

Юра — Юрий Завадский (1894—1972) — известный режиссер.

Володя А. — Владимир Алексеев, сотрудник III-й студии МХАТа, погиб в гражданскую войну.

Аля — Ариадна Сергеевна Эфрон (1912—1975), дочь Марины Цветаевой.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

А

Азраил («От руки моей не взыгрывал...») 132
Але (1—3) 43
Алексееву С. Б. («Править тройкой и гитарой...») 125
«Аля! Маленькая тень...» (Але) 43
Анне Ахматовой («Узкий, нерусский стан...») 81
«А пока твои глаза...» 100
«А потом поили медом...» 120
Асе (1—2) 12
«А царит над нашей стороной...» 103

Б

Бабушке («Продолговатый и твердый овал...») 60
Байрону («Я думаю об утре Вашей славы...») 16
«Без Бога, без хлеба, без крова...» 109
«Безумье и благоразумье...» 78
«Безупречен и горд...» 121
«Бел, как мука, которую мелет...» 128
«Бессрочно кораблю не плыть...» 80
«Бог! — Я живу! — Бог! — Значит ты не умер!...» 124
«Божественно, детски-плоско...» (Кармен) 102
Bohème («Помнишь плащ голубой...») 132
«Быть в аду нам, сестры пылкие...» 87
«Быть нежной, бешеной и шумной...» 21

В

«Вам одеваться было лень...» (Подруга) 64
«Ветер звонок, ветер нищ...» 128
«В огромном липовом саду...» 26
«Война, война! — Хождение у киотов...» (П. Э.) 54
«В первой любила ты...» (Подруга) 75

«Все глаза под солнцем жгучи...» (Подруга) 72
«Вспомните: всех голов мне дороже...» (Подруга) 76
Встреча с Пушкиным («Я подымаюсь по белой дороге...») 17
«В тумане синее ладана...» 83
«В тяжелой мантии торжественных обрядов...» 92
«Вы, идущие мимо меня...» 8
«Вы счастливы? — Не скажешь! — Едва ли!...» (Подруга) 61

Г

Гению («Крестили нас в одном чану...») 120
Германии («Ты миру отдана на травлю...») 59
Героям двенадцатого года («Одна улыбка на портрете...») 23
«Голоса с их игрой сулящей...» 79

Д

«Да будет день! — и тусклый день туманный...» 112
«Даны мне были и голос любый...» 90
«Да, я тебя уже ревную...» (Але) 46
«Два солнца стынут — о, Господи, пощади!...» 85
«День августовский тихо таял...» (П. Э.) 48
«День угасший...» 88
Дон-Жуан («И падает шелковый пояс...») 98
Дон-Жуан («И разжигая во встречном взоре...») 100
«Дороги хлебушек и мука!...» 115
«Дурная мать! — Моя дурная слава...» (Памяти Беранже) 118

Е

Евреям («Кто ни топтал тебя — и кто ни плавил...») 95
Его дочке /П. Э./ («С ласточками прилетела...») 53
«Есть имена, как душные цветы...» (Подруга) 74
«Есть такие голоса...» (Сергею Эфрон-Дурново) 14

Ж

«Жизнь приходит не с грохотом и громом...» 95

З

«Запах, запах...» 109
«Заповедей не блюла, не ходила к причастью...» 84
Земное имя («Стакан воды во время жажды жгучей...» 129
«Змея оправдана звездой...» 114

И

«И в заточеньи зимних комнат...» 104
«Идешь, на меня похожий...» 6
«Идите же! — Мой голос нем...» 11
«И, дрожа от страстной спеси...» (Петров конь роняет подкову — отрывок) 125
«И зажег, голубчик, спичку...» 126
«Из Польши твоей спесивой...» 104
Из цикла «Дон-Жуан» (3—4) 96
Иосиф («Царедворец ушел во дворец...») 105
«И падает шелковый пояс...» (Дон-Жуан) 98
«И призвал тогда князь света — князя тьмы...» 99
«И разжигая во встречном взоре...» (Дон-Жуан) 100
«И я вошла, и я сказала: здравствуй!...» (Руан) 110

К

«Как весело сияя снежинками...» (Подруга) 66
«Как водоросли Ваши члены...» (Сергею Эфрон-Дурново) 15
«Как много красавиц, а ты — один...» 112
«Какой-нибудь предок мой был скрипач...» 82
«Как рука с твоей рукой...» 111
Кармен (1—2) 102
Князь тьмы (1—2) 107
«Колокола и небо в темных тучах...» (Князь тьмы) 107
«Красный бант в волосах!...» 123
«Крестили нас в одном чану...» (Гению) 120
«Кто ни топтал тебя — и кто ни плавил...» (Евреям) 95

Л

«Легкомыслие — милый грех...» 77
«Лежат они, написанные наспех...» 89

М

«Мальчиком, бегущим резво...» 9
«Милый друг, ушедший дальше, чем за море...» (П. Э.) 57
«Мне нравится, что Вы больны не мной...» 77
«Могу ли не вспомнить я...» (Подруга) 70
«Мое последнее величье...» 108
«Моим стихам, написанным так рано...» 7
«Мы быстры и наготове...» (Асе) 12
«Мы — весенняя одежда...» (Асе) 13

Н

«Наградил меня Господь...» 116
«Над Феодосией угас...» 25
«Не по нраву я тебе — и тебе...» 120
«Нет! Еще любовный голод...» 107
«Новый год я встретила одна...» 111
«Ночи без любимого — и ночи...» 126
«Ночь преступница и монашка...» 119
«Ночью над кофейной гущей...» (Подруга) 66
«Ну вот и покончена метка...» 127

О

«Одна улыбка на портрете...» (Героям двенадцатого года) 23
«Он был наш ангел, был наш демон...» (Чародей) 28
«Он приблизился, крылатый...» 91
«Осторожный троекратный стук...» 116
«Осыпались листья над Вашей могилой...» (П. Э.) 56
«От руки моей не взыгрывал...» (Азраил) 132
«Офицер гуляет с саблей...» 122

П

П. Э. (1—7) 48
Памяти Беранже («Дурная мать! — Моя дурная слава...» 118
«Пахнет ладаном воздух...» 115
Петров конь роняет подкову (отрывок — «И, дрожа от страстной спеси...») 125
«Повторю в канун разлуки...» (Подруга) 73
«Под лаской плюшевого пледа...» (Подруга) 62
Подруга (1—17) 61
«Полнолунье и мех медвежий...» 87
«Помнишь плащ голубой...» (Bohème) 132
«Посвящаю эти строки...» 5
«После стольких роз, городов и тостов...» (Из цикла «Дон-Жуан») 96
«Поступь легкая моя...» 123
«Править тройкой и гитарой...» (С. Б. Алексееву) 125
«Прибой курчавился у скал...» (П. Э.) 51
Пригвождена («Пригвождена к позорному столбу...» 130
«При жизни Вы его любили...» (П. Э.) 54

«Продолговатый и твердый овал...» (Бабушке) 60
«Проще и проще...» 122
«Пусть не помнят юные...» 118

Р

«Расцветает сад, отцветает сад...» 110
«Ровно — полночь...» (Из цикла «Дон-Жуан») 97
Руан («И я вошла, и я сказала: здравствуй!...») 110

С

С. Э. («Я с вызовом ношу его кольцо!...») 42
«С большою нежностью — потому...» 84
«С вербочкою светлошерстой...» 115
«Свинцовый полдень деревенский...» 117
«Свободно шея поднята...» (Подруга) 68
«С головою на блещущем блюде...» 105
«Сегодня таяло, сегодня...» (Подруга) 63
«Сегодня, часу в восьмом...» (Подруга) 64
Сергею Эфрон-Дурново (1—2) 14
«Сини подмосковные холмы...» (Подруга) 72
«С ласточками прилетела...» (П. Э. — Его дочке) 53
«Собрались, льстецы и щеголи...» 104
«Солнцем жилки налиты — не кровью...» 8
«Стакан воды во время жажды жгучей...» (Земное имя) 129
«Стоит, запрокинув горло...» (Кармен) 103
«Страстно рукоплеща...» (Князь тьмы) 108
«Страстный стон, смертный стон...» 113

Т

«Так и буду лежать, лежать...» 97
«Там где мед — там и жало...» 121
«Только в очи мне взглянул и без остатка...» 129
«Ты будешь невинной, тонкой...» (Але) 45
«Ты миру отдана на травлю...» (Германии) 59
«Ты мне чужой и не чужой...» 122
«Ты проходишь своей дорогою... (Подруга) 69
«Ты этого хотел — Так — Аллилуя...» (Земное имя) 130

У

«Уж сколько их упало в эту бездну...» 19
«Узкий, нерусский стан...» (Анне Ахматовой) 81

Х

«Ходит он со своим серпом...» 113
«Хочешь знать мое богатство?...» 117
«Хочу у зеркала, где муть...» (Подруга) 75

Ц

«Царедворец ушел во дворец...» (Иосиф) 105
«Цветок к груди приколот...» 86
«Цыганская страсть разлуки!...» 86

Ч

Чародей («Он был наш ангел, был наш демон...») 28
«Что видят они? — Пальто...» 80
«— Что же! коли кинут жребий...» 98

Я

«Я думаю об утре Вашей славы...» (Байрону) 16
«Я — есмь. Ты будешь. Между нами — бездна...» 116
«Я знаю правду! Все прежние правды — прочь!...» 85
«Я подымаюсь по белой дороге...» (Встреча с Пушкиным) 17
«Я с вызовом ношу его кольцо!...» (С. Э.) 42
«Я сейчас лежу ничком...» 10

СОДЕРЖАНИЕ

ЮНОШЕСКИЕ СТИХИ

«Посвящаю эти строки...» 5
«Идешь, на меня похожий...» 6
«Моим стихам, написанным так рано...» 7
«Солнцем жилки налиты — не кровью...» 8
«Вы, идущие мимо меня...» 8
«Мальчиком, бегущим резво...» 9
«Я сейчас лежу ничком...» 10
«Идите же! — Мой голос нем...» 11
Асе:
1. «Мы быстры и наготове...» 12
2. «Мы — весенняя одежда...» 13
Сергею Эфрон-Дурново:
1. «Есть такие голоса...» 14
2. «Как водоросли Ваши члены...» 15
Байрону («Я думаю об утре Вашей славы...») . . . 16
Встреча с Пушкиным («Я подымаюсь по белой дороге...») 17
«Уж сколько их упало в эту бездну...» 19
«Быть нежной, бешеной и шумной...» 21
Героям двенадцатого года («Одна улыбка на портрете...») 23
«Над Феодосией угас...» 25
«В огромном липовом саду...» 26
Чародей («Он был наш ангел, был наш демон...») . 28
С. Э. («Я с вызовом ношу его кольцо!...») . . . 42
Але:
1. «Аля! Маленькая тень...» 43
2. «Ты будешь невинной, тонкой...» 45
3. «Да, я тебя уже ревную...» 46
П. Э.:
1. «День августовский тихо таял...» 48
2. «Прибой курчавился у скал...» 51

3. Его дочке. «С ласточками прилетела . . .» . 53
4. «Война, война! — Хождение у киотов . . .» . 54
5. «При жизни Вы его любили . . .» 54
6. «Осыпались листья над Вашей могилой . . . 56
7. «Милый друг, ушедший дальше, чем за море . . .» 57
Германии («Ты миру отдана на травлю . . .») . . . 59
Бабушке («Продолговатый и твердый овал . . .») . . 60
Подруга:
1. «Вы счастливы? — Не скажешь! — Едва ли! . . .» 61
2. «Под лаской плюшевого пледа . . .» . . . 62
3. «Сегодня таяло, сегодня . . .» 63
4. «Вам одеваться было лень . . .» 64
5. «Сегодня, часу в восьмом . . .» 64
6. «Ночью над кофейной гущей . . .» . . . 66
7. «Как весело сияя снежинками . . .» . . . 66
8. «Свободно шея поднята . . .» 68
9. «Ты проходишь своей дорогою . . .» . . . 69
10 «Могу ли не вспомнить я . . .» 70
11. «Все глаза под солнцем жгучи . . .» . . . 72
12. «Сини подмосковные холмы . . .» 72
13. «Повторю в канун разлуки . . .» 73
14. «Есть имена, как душные цветы . . .» . . . 74
15. «Хочу у зеркала, где муть . . .» 75
16. «В первой любила ты . . .» 75
17. «Вспомните: всех голов мне дороже . . .» . . 76
«Легкомыслие — милый грех . . .» 77
«Мне нравится, что Вы больны не мной . . .» . . . 77
«Безумье и благоразумье . . .» 78
«Голоса с их игрой сулящей . . .» 79
«Бессрочно кораблю не плыть 80
«Что видят они: — Пальто . . .» 80
«Узкий, нерусский стан . . .» (Анне Ахматовой) . . 81
«Какой-нибудь предок мой был скрипач . . .» . . . 82
«В тумане синее ладана . . .» 83
«С большою нежностью — потому . . .» 84
«Заповедей не блюла, не ходила к причастью . . .» . . 84
«Я знаю правду! Все прежние правды — прочь! . . .» . 85
«Два солнца стынут — о, Господи, пощади . . .» . . 85
«Цветок к груди приколот . . .» 86

«Цыганская страсть разлуки! . . .» 86
«Полнолунье и мех медвежий . . .» 87
«Быть в аду нам, сестры пылкие . . .» 87
«День угасший . . .» 88
«Лежат они, написанные наспех . . .» 89
«Даны мне были и голос любый . . .» 90

Приложение

«Он приблизился, крылатый . . .» 91
«В тяжелой мантии торжественных обрядов . . .» . . . 92

СТИХОТВОРЕНИЯ 1915—1918

«Жизнь приходит не с грохотом и громом . . .» . . 95
Евреям («Кто ни топтал тебя — и кто ни плавил . . .» . 95
Из цикла «Дон-Жуан»:
3. «После стольких роз, городов и тостов . . .» . 96
4. «Ровно — полночь . . .» 97
«Так и буду лежать, лежать . . .» 97
«— Что же! коли кинут жребий» 98
Дон-Жуан («И падает шелковый пояс . . .») . . . 98
«И призвал тогда князь света — князя тьмы . . .» . . 99
Дон-Жуан («И разжигая во встречном взоре . . .» . . 100
«А пока твои глаза . . .» 100
Кармен «Божественно, детски-плоско . . .» . . . 102
2. «Стоит, запрокинув горло . . .» 103
«А царит над нашей стороной . . .» 103
«И в заточеньи зимних комнат . . .» 104
«Из Польши твоей спесивой . . .» 104
«Собрались, льстецы и щеголи . . .» 104
«С головою на блещущем блюде . . .» 105
Иосиф («Царедворец ушел во дворец . . .») . . . 105
«Нет! Еще любовный голод . . .» 107
Князь тьмы:
1. «Колокола и небо в темных тучах . . .» . . 107
2. «Страстно рукоплеща . . .» 108
«Мое последнее величье . . .» 108
«Без Бога, без хлеба, без крова . . .» 109
«Запах, запах . . .» 109

«Расцветает сад, отцветает сад...» 110
Руан («И я вошла, и я сказала: здравствуй!...») . . 110
«Как рука с твоей рукой...» 111
«Новый год я встретила одна...» 111
«Да будет день! — и тусклый день туманный...» . . 112
«Как много красавиц, а ты — один...» 112
«Страстный стон, смертный стон...» 113
«Ходит он со своим серпом...» 113
«Змея оправдана звездой...» 114
«С вербочкою светлошерстой...» 115
«Пахнет ладаном воздух...» 115
«Дороги хлебушек и мука!...» 115
«Осторожный троекратный стук...» 116
«Я — есмь. Ты будешь. Между нами — бездна...» . 116
«Наградил меня Господь...» 116
«Хочешь знать мое богатство?...» 117
«Свинцовый полдень деревенский...» 117
Памяти Беранже («Дурная мать — Моя дурная слава...») 118
«Пусть не помнят юные...» 118
«Ночь преступница и монашка...» 119
«Не по нраву я тебе — и тебе...» 120
Гению («Крестили нас в одном чану...») 120
«А потом поили медом...» 120
«Там где мед — там и жало...» 121
«Безупречен и горд...» 121
«Ты мне чужой и не чужой...» 122
«Проще и проще...» 122
«Офицер гуляет с саблей...» 122
«Поступь легкая моя...» 123
«Красный бант в волосах!...» 123
«Бог! — Я живу! — Бог! — Значит ты не умер!...» . 124
Петров конь роняет подкову (отрывок — «И дрожа от страстной спеси...») 125
С. Б. Алексееву («Править тройкой и гитарой...») . 125
«Ночи без любимого — и ночи...» 126
«И зажег, голубчик, спичку...» 126
«Ну вот и покончена метка...» 127
«Бел, как мука, которую мелет...» 128
«Ветер звонок, ветер нищ...» 128
«Только в очи мне взглянул и без остатка...» . . . 129

Земное имя — «Стакан воды во время жажды жгучей . . .» 129
3. «Ты этого хотел — Так— — Аллилуйя . . .» 130
Пригвождена («Пригвождена к позорному столбу . . .» 130
Азраил («От руки моей не взыгрывал . . .») . . . 132
Bohème («Помнишь плащ голубой . . .») 132

ТЕАТР

Каменный ангел (Пьеса в 6-ти картинах) 135

ПРОЗА

Повесть о Сонечке 203
Часть первая — Павлик и Юра 205
Часть вторая — Володя 267

Примечания 363

Алфавитный указатель стихотворений 369

MEMPHIS/SHELBY COUNTY PUBLIC LIBRARY
0 1152 09681135

DATE DUE

CENTRAL

Memphis Public Library & Information Center